

АЛТАЙ



2

1969

Электронная библиотека АЛТАЙ, eilib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, eilib.altlib.ru

712633

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

АЛТАЙ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Год издания XXII

№ 2 (49) 1969



В НОМЕРЕ:

- АЛТАЙСКИЕ ПОЭТЫ ВЫСТУПАЮТ СО СВОИМИ ПЕРВЫМИ РАССКАЗАМИ.
- СТАРЫЙ БАРНАУЛ — ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ВРЕМЯ. ВОСПОМИНАНИЯ АДРИАНА МИТРОФАНОВИЧА ТОПОРОВА.
- ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ МАРАТА ХОНЯКА.
- ГЛАВЫ ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА ВЛАДИМИРА КАЗАКОВА.



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**П. Бородкин, Н. Дворцов, В. Еременко, И. Казанцев,
Л. Квин (редактор), В. Сидоров, В. Софронов,
М. Юдалевич.**

Оформление художника В. Еврасова.
На обложке: гравюра художника И. Артанулова.
На вклейках: фотографии Б. Брызгина.

Электронная библиотека АКУНЬ, ajib.altlib.ru



К ИЛЬИЧУ

РАССКАЗ

Пока шли бором, было терпимо, а в поле начал пробирать несильный, но колючий ветер. Одет Митьша в старенький шабуришко, на ногах подшитые пимы, вокруг тонкой цыплячей шеи намотан рваный материн платок. Худое, острое книзу лицо посинело. Узкоплечий, дробненький, он казался четырнадцатилетним подростком, а не семнадцатилетним юношей.

— Пробирает, — сказал он, ежась.

Тихон, шагавший впереди, не отозвался. Ему, верно, было жарко, он расстегнул полушубок. Он только на год старше Митьши, а выглядит богатырем — высокий, крепкий, немного мешковатый. Глаза чистого голубого цвета смотрят добродушно. Лицо — кровь с молоком.

— Погреться бы где, — опять сказал Митьша.

Тихон и на этот раз не отозвался. Тогда Митьша вскипел:

— Какого черта молчишь! Язык корова отжевала?

Тишка оглянулся, и его лицо осветила застенчивая девичья улыбка.

— Верст через десять будет заимка, — сказал он медленно, будто что-то вспоминая или подыскивая слова.

— Какая заимка?

— А заимка... Фирсовский мужик живет.

— Чего ж он там живет?

— Не знаю. С скотом ли, что ли.

— Кулак, скотину от советской власти прячет, — проворчал Митьша. — А ты откуда знаешь про заимку-то?

— Лонись с тятей ездили в город...

Не дождавшись конца фразы, Митьша продолжил сам:

— Останавливались лошадей кормить.

— Угу.

Митьшины мысли приняли другое направление.

— Какой же он, город-то?

Тишка долго думал, морща чистый лоб, наконец сказал:

— Большой, поди-кось.

— Ох и пень же ты, Тишка, ничего от тебя не добьешься, — вздохнул Митьша. — Железную-то дорогу хоть видел?

— Не. Мы на базар.

— Муку возили?

— Угу. Ишо мясо...

Некоторое время шли молча. Митьша с беспокойством думал о том, как они из города того доберутся до Москвы. Денег ребята собрали всего один червонец. Хватит ли до Москвы? Она ведь где... А Митьше даже в губернском городе не приходилось бывать. Тем не менее он был уверен, что они доберутся до Москвы, разыщут Ленина и все ему расскажут, прежде всего об учителе.

Михаил Михайлович, одинокий человек лет сорока пяти, работал в Сорочьем Логу с семнадцатого года. Носил очки, курил трубку и хорошо играл на скрипке, а еще лучше рассказывал о новой жизни, особенно о Ленине, ласково называя его Ильичем. В его рассказах Ильич был самым справедливым и добрым, самым умным и сильным духом человеком. Навсегда Митьше запомнились эти рассказы. Митьша с Тишкой учились в школе три зимы, но и после от учителя не отбились, бегали к нему за книжками. Потом Михаил Михайлович из своих бывших учеников организовал ячейку комсомола. Изучал с ребятами политграмоту, ставил спектакли, в которых высмеивались кулаки и попы, а еще писал заметки в губернскую газету о том, что кулаки скрывают скот и гноят хлеб в земле. Однажды вечером учитель пошел в соседнее село на собрание партийки (в Сорочьем-то Логу своей ячейки не было) и не вернулся. Утром его нашли на дороге с расколенной топором головой. Приезжал следователь, вызывал и допрашивал людей и уехал ни с чем. Комсомольцы и коммунисты из соседнего села устроили учителю «красные похороны». Гроб несли с песнями, каким он научил ребят при помощи своей скрипки.

Наш враг над тобой не глумился,
Кругом тебя были свои!
Мы сами, родимый, закрыли
Орлиные очи твои...

— пели ребята, глотая слезы.

Похоронили, погоревали и тем бы все кончилось. Но по деревне поползли слухи, что следователь был «не настоящий, из бывших», виде-

ли, как он «угощался» у кулака Панина и пропил Михайловича. Осиротевшие комсомольцы решили добиваться правды, снарядили в волость делегацию. За главного — секретарь ячейки Митьша.

Пошли ребята прежде всего в волостной комитет комсомола. Какой-то вертлявый парнишка, занятый новыми скрипучими ремнями, над детьми на нем, как сбруя на лошади, сказал:

— Ладно. Приедет секретарь волпарткома из города, расскажу ему, а пока идите домой. Надо будет, вызовем.

Ребята ушли подавленные.

— Ничего тут не добьешься, — гневно сказал Митьша. — Надо к самому Ленину. Ильич не даст правду ногами топтать.

— Ильич не даст! — горячо поддержали Митьшу ребята. Решили послать с ним и Тихона. Митьша речист, напорист, смел. Тишка хоть и молчун, но справедлив, предан комсомолу, за правду жизнь положит. Отец его мокрыми вожжами порол за то, что он вступил в комсомол. Тишка весь окровенился, но от комсомола не отступил. Тихон был из богатой семьи, но мать его вышла из «нужишки», помнила безрадостное детство и горькую юность, жалела бедных.

Тишка охотно согласился ехать с Митьшей в Москву еще и потому, что была у него думка посоветоваться с Ильичем, как ему быть. Отец кулак, он комсомолец. Не мог Тишка жить, как отец, он хотел справедливой жизни, но не мог и отца бросить: ведь отец же! Эти противоречия раздирали его душу. Он даже учителю ничего не сказал, а Ильичу расскажет. И как Ленин посоветует, так Тишка и сделает, потому что Ильич самый справедливый человек на свете и ошибиться он не может. Из дома Тихон ушел тайком. Митьша же сказал матери — отца у него убили на германской, — что идет в волость по комсомольским делам.

Кругом, насколько хватал глаз, расстиралось снежное поле. Косматое, заиндевшее солнце висело низко. В эти дни оно не поднималось высоко над землей. Ленино пройдет сторонкой и опять опустится за мертвыми полями.

К обеду ребята добрались до заимки. Их встретили две лохматые собаки и могучий старичина с белой бородой и по-детски розовыми щеками.

— Чо надоть? — спросил он подозрительно.

— Пусти, дедушка, погреться, замерзли, — попросился Митьша. Глаза у старика будто оттаяли, оказались тоже детски-голубыми.

— Заходите ли, чо ли, — разрешил он.

В жарко нагретой избе с бревенчатыми сосновыми стенами, на которых вытопилась смола, Митьша задрожал сильнее, из него «выходил мороз». Дед поставил на стол закопченный котелок с кипятком, глиняный чайник с морковным чаем и недовольно сказал:

— Нонче ни чаю, ни сахару, ни хлеба. Голью хлебайте.

— Спасибо. Хлеб у нас свой, — сказал Митьша и достал из-за пазухи черную потрескавшуюся пышку, испеченную из просяной муки, лебеды и картошки. Тишка разломил пышный, мягкий калач из пшеничной сеяной муки, одну половину подложил Митьше. Хороши калачи пекут сибирячки, но Митьша сделал вид, что не заметил его. Старик наблюдал.

— Куда путь-дорогу держите, молодцы?

— В город, — согреваясь от чая, ответил Митьша.

— Пошто?

Митьша задержался с ответом, придумывая что бы сказать. Говорить старику о Ленине не стоит: похоже старик — кулак. Но простодушный, бесхитростный Тишка отмалчиваться шел невежливым и, вопреки своей медлительности, на этот раз поспешил:

— В Москву пробираемся, к Ленину.

— Пошто?

— По своим делам, — нехотя буркнул Митьша, сердито взглянув на Тишку. Замолчали. Старик, облокотясь на колени, смотрел в пол.

— Комсомольцы, — не то спросил, не то сказал утвердительно.

Парни промолчали. Старик встал во весь свой могучий рост.

— Ленин!.. Довел ваш Ленин Расею до раззора. Какой хлеб-то ешь! — он ткнул корявым пальцем в Митьшину пышку. — Допрежь мы свиной таким не кормили, чистую муку замешивали.

Худое Митьшино лицо вспыхнуло бурой краской, темные, глубоко посаженные глаза блеснули.

— Вы допрежь свиньям чистую муку замешивали, а мы и такой хлеб не вдоволь ели! — сказал Митьша резким тонким голосом и тоже зло ткнул пальцем в кусок пышки. Тихон потупился и перестал жевать.

— Кто не велел? Нужишка... — презрительно прохрипел старик. — Кто робил, у того и хлеб был, а которы лодыри, те вечно — нужишка.

Митьша встал, вздрагивая не то от холода, еще не совсем оставившего его худое тело, не то от гнева.

— Моя мать весь свой век работала на таких, а хлеба досыта не ела...

— По речам слышу — из Расеи. Пошто ехали? Сидели бы дома. Думали, в Сибири калачи на березах растут, на готовое рот разевали.

Митьша туже затянул опояску, кусок пышки сунул за пазуху, оставив недопитый чай в деревянной раскрашенной чашке.

— Идем! — кинул Тишке.

— Пошто Ленин вас плохо кормит? В Фирсово кумынники дохлых лошадей лопают, — и старик захохотал, показав полный рот желтых, длинных и крепких зубов.

— Ты, старик, Ленина не трожь! Не твоим языком о нем говорить! — угрожающе сказал Митьша, исподлобья глядя в широко открытый зубастый рот, и стремительно шагнул к двери.

— Спасибо, дедушка, за чай, — вежливо поблагодарил Тишка.

У ворот, отгоняя собак, старик будто виновато сказал:

— Хиус. К вечеру, паря, большой мороз будет. Воробыши на лету замерзают, — он взглянул на Митьшин шабур. Должно быть, в нем боролась простая человеческая жалость к плохо одетому парню с ненавистью к комсомолу.

— Ночевать ба, — сказал Тишка, когда они отошли от заимки версты две.

— К черту! — отрезал Митьша. — Мне с кулаками одним духом дышать противно. А ты с ним про Ленина... То от тебя слова не добьешься, как от гнилого пня, а тут вынесло с языком.

Тихон виновато улыбался; он уже понял свой промах.

Белое солнце мохнатыми заиндедевшими лучами коснулось снегов. Все чаще переползали дорогу змейки поземки. Митьша старался не замечать, что правый бок и руку пронизывает словно ножом, коченеют колени, прикрытые одними холщевыми штанами. Он не глядел в мертвую бесконечную степь, а думал о Москве, о Ленине. Ильич выслушает Митьшу с Тишкой и пошлет в Сорочий Лог настоящего коммуниста. Тот обязательно докопается, кто убил Михаила Михайловича. А докопаться не так уж трудно: все знают, что брат кулака Панина, этот бандюга Прохорка скрывается в тайге. Эту кулацкую свору арестуют и установят в Сорочьем Логу настоящую советскую власть. Теперешний председатель сельсовета хоть и из маломощных, но подкулачник и зашибает. За бутылку все продаст, так говорил учитель. А председателем надо выбрать дядю Антона. Тот из бедноты и мужик стойкий, ни на что не поддастся, только вот грамота мала. Ну да ничего, Митьша ему будет помогать...

Как ни увлекательны у Митьши мысли, но жгучий ветер его нестерпимо донимает. Парень идет то задом наперед, чтобы спрятать коченеющие руки и бок, то трет варежкой щеку, то бежит и прыгает, но согреться не может, только теряет силы.

Солнце превратилось в огненный шар почти без лучей. По его сторонам в морозном тумане встали радужные столбы — верный признак того, что холод станет еще лютей. Снег окрасился в зловещий багровый цвет. Потом все краски стали быстро таять. Солнце спряталось, столбы исчезли, недолго стояла и холодная лиловая заря. Все стало серо, мутно, наступил вечер.

Митьша ни о чем уже не мог думать. Холод пронизывал его до самого сердца, леденил не только тело, но и мозг. Парень уж не бе-

жал, не прыгал, он собирал все силы, чтоб не отстать от Тишки. А Тихон молча шагал и шагал, не убыстряя и не замедляя шага и не оглядываясь. Митьша несколько раз хотел ему крикнуть, просить подождать, но упорно молчал.

— Надо идти без остановки... надо дойти... — Мысли сделались мутными, зыбкими, как во сне.

Стало темно. Зачернелись какие-то кусты. Потом и кусты остались позади. Ветер стал таким пронзительным, что Митьша почувствовал себя голым.

Он остановился.

— Тишка-а!

Не услышал своего голоса. Сделал еще усилие и побежал, вернее, пошел неровными спотыкающимися шагами, ноги ему не подчинялись. Тогда он рванулся вперед и упал, прижался к снегу. Выплыла горькая мысль: «Не дойду... Не дойду до Ильича...»

— Митьша, ты чо? — испуганно спросил Тишка, наклонившись над ним.

— Зззз...ммме...зззаю...

— Пошто допрежь не сказал?

Тишка легко поднял худенькое тело товарища, заслонил его собой от ледящего ветра и стал развязывать на нем опояску. Сдернул с него шабуришко, кинул на снег и надел свой добротный полушубок. Измученному Митьше показалось, что его придавил воз сена. Сразу стало не чутко ветра, захотелось прилечь и уснуть под этим стогом. Тишка надел шабур, затянул опояску и, схватив Митьшу за руку, прогудел:

— На Обь сошли. Тутатка шибко хиус. Идем скорейча!

Сначала Митьша с трудом передвигал ноги, но постепенно почувствовал, как к нему возвращается тепло и жизнь. Его охватила безграничная радость и благодарность к товарищу.

— А ты-то, Тишка, не заколешь? — забеспокоился он.

— Не. На мне пинжак да две рубахи. И скоро дойдем. Глянь всн туда!

Митьша всмотрелся. Сквозь густую морозную мглу где-то вверху просвечивали крупные огни.

— Чо это? Город?

— Надо быть, он.

— Батюшки! Почти дошли! — бурная радость окончательно согрела Митьшу. — Надевай, Тиша, полушубок, я уже!

— Ладно, так добегу.

Но это был еще не город. Светились огни паровой мельницы, стоявшей на самом берегу Оби. Город из-за крутого высокого берега еще

не был виден. Ребята поднялись по наискось прорытой дороге и вступили в город. За высокими домами ветер сразу потерял свою лютую силу. Фонари пока были редки, свет падал только из окон домов. А когда парни, пройдя несколько кварталов, свернули на главный проспект, то остановились в изумлении. Никогда они такого не видели. Улица была залита светом. Сияли электрические фонари, сверкали витрины магазинов, светились огромные окна домов. Казалось, не было страшного холода, не было жуткой зимней ночи. Толпы нарядных веселых людей шли по улице. Лихо пронеслись извозчики, прогрохотала никогда не виданная Митьшей машина. У парня приятно закружилась голова, хотя болели, должно быть, помороженные коленки и ныло все тело, но этого можно было не замечать, и усталости как не бывало. Митьша оглядывался в радостном изумлении. У него спутались представления, ему казалось, что это уже Москва и где-то в этом людском потоке—Ленин!..

Вдруг где-то вдали родился тревожный и печальный звук. Он приближался, нарастал, тревога и печаль стали отчетливой. Ему откликнулся другой звук, тоньше, как будто кто-то заплакал. Третий, четвертый, пятый... Небо, землю, улицы — все наполнили собой эти хватающие за сердце звуки. Митьше никогда не приходилось слышать зазодских и паровозных гудков, но он не раз читал о них и догадался, что это гудки. Они неслись со станции, из железнодорожного депо, с завода «Серп и молот», с пимокатного и дрожжевого, подавала голос лесопилка. Гудки слились в один протяжный скорбный звук, как будто кто-то огромный рыдал в безысходном горе.

Прохожие останавливались, с тревогой смотрели вверх, будто могли что-то увидеть в звуках, пливших над городом, оглядывались, спрашивали о чем-то друг друга. Исчезли улыбки, на лицах появилась тревога. И вот улица, несколько минут тому назад поразившая ребят светом, блеском, шумом, движением и радостью, замерла... Длинной очередью остановились извозчики. В горестном и тревожном ожидании остановился на тротуарах людской поток. Не слышно стало городского шума, будто мгновенно все застыло. Только гудки грозили и негодовали, надрывно рыдали и тосковали в безутешном горе.

Возле Митьши остановились трое. Пожилой мужчина в потертом пальто снял шапку. Его седеющая голова опускалась все ниже и ниже, плечи приподнялись, спина сгорбилась, казалось, он сейчас упадет на колени. Рядом военный стоял очень прямо, вскинув руку к фуражке со звездочкой. В глазах недоумение, кажется, он не верил случившемуся. И еще один, молодой, должно быть, рабочий, не успевший снять кожаного фартука. По его лицу бежали слезы...

Внезапно Митьша услышал слова — крикнул ли их кто или они родились сами собой в скорбном рыдании гудков:

— Умер Ленин!..

Митьшу словно ударили тяжелым по голове. Качнулась и поплыла улица, перекошились и расплылись окна магазинов, погас свет, стало темно и тихо, гудки тосковали где-то вдали, еле слышно...

Опомнился Митьша у стены магазина. Его держали под руки военный и рабочий в фартуке. А третий, с седой открытой головой, о чем-то спрашивал Тишку. Тихон пытался что-то стереть с лица рукавом Митьшиного шабура и едва шевелил дрожащими губами:

— Мы из деревни... в Москву... к Ильичу... За правдой...

А человек с седеющей головой коротко сказал военному:

— Устройте их на ночь в комсомольскую коммуну, а завтра ко мне, в губком. — И добавил печально, сурово и твердо: — Умер Ильич, но правда его осталась. Правда его жива!

Электронная библиотека АКУНЬ akunib.ru

вич
щив
хуш
тепл

тел
сло
жив
Дру
кус
Моз

сте
лям
нач
сузи
Ино
хол
Сем

ког
ли
раз

ВЗЛЕТ

ОЧЕРК

Семен Ефимович отчетливо помнит, как отец его, Ефим Прокопьевич Пятница, развернув старое рядно, вытащил привезенную с Луганщины жиденькую веточку осокоря, закопал ее почти по самую верхушку в сырую и не согревшуюся еще после снега землю. Потом полил теплой водой, перекрестил и сказал:

— Ну, расти с божьей помощью.

Еще он помнит взволнованные разговоры односельчан вечерами под телегами и около недостроенных балаганов. Одни вспоминали недобрым словом Столыпина: сорвал с обжитых мест, вытолкнул в голую степь — живи! Ни кола, ни двора, оглобля сломается — надо ехать за сто верст. Другие приводили свои резоны: да, тут не сахар. Но ведь и дома нечего кусать было. Попробуем! Земля здесь вольная, травы вон какие родит. Может, и наши семена примет, без хлеба не оставит.

Прохладная ветреная весна сменилась жарким летом. В степи свистели суслики, сновали проворные тарбаганы. Рядом с высокими ковылями наливалась зерном тугорослая пшеничка переселенцев. А потом начались холодные косые дожди, посыпал снег, и мир для Семена совсем сузился: сырая, темная землянка, чуть теплая от кизяка и камыша. Иногда, одев материньи чоботы и кожушок, он выскакивал на улицу. Но холодный хиус моментально продирался сквозь холщовую рубашку, и Семен пулей летел в землянку.

Были у хлопца и свои развлечения. Около печки стоял теленок, и когда мать не видела, с ним можно было пободаться. Вечерами приходили старики, читали толстые книги, вели страшные, царапающие за душу разговоры о боге и антихристе, о грешниках, которых в аду варят в кот-

лах со смолой. Летом Семен видел, как цыгане смолили в больших котлах колеса от бричек. Засыпая на печке под монотонное чтение или тихие разговоры, он видел во сне степь, потных цыган, вытаскивающих крюками из бурлящих котлов грешников — черных, лоснящихся от свежей смолы. Но с белозубыми улыбками.

В крестьянских семьях работа находится малым и старым. Семен пас гусей, немного подрос — взяли его возить на покосе копны. Потом боронить, пахать, плотничать.

Дикая, не слышавшая хлеборобского голоса и не знавшая хлеборобской руки степь не спешила одаривать новоселов щедротами. Год-два урожаем, и вдруг — засуха. Часто посещали землянки переселенцев ведомые и неведомые болезни, особенно беспощадно косили маленьких. Но как ни трудно было, а живой думает о живом. Решили как-то мужики создать школу в своем поселке Попасном. Нашли человека, умеющего читать и писать, Игната Игнатенко, соорудили у него в землянке «классную комнату»: вбили в земляной пол колья — один ряд пониже, другой повыше, на колья сверху положили строганный горбыль. Вот тебе и парты со скамейками! Учеников набралось четырнадцать человек. Соберутся все, а у Игнатенка пятеро детей, жена около печки сердито горшками гремит, около дверей тележок стоит, а то еще и окотившаяся овца с ягнятами. Какая тут учеба, когда не знаешь, кого слушать и на кого глядеть!

Судьба Семена круто и неожиданно для него самого изменилась на его же свадьбе. По старому обычаю молодоженам на блины родственники и гости кладут подарки. И вот поднялся старичок — деревенский кузнец. И так сказал:

— Подарил бы я вам, Семен и Мария, коня, да самому бог не дал. Подарил бы корову, да у самого одна, и та, под стать моей молодухе, все зубы от сладкой пищи растеряла. А потом, скажу я вам, что конь? Поживет-поживет и в землю? Я тебе хочу, Семен, положить на блины такое, что и тебе и твоим детям и внукам всегда даст верный хлеб. Хочешь, я сделаю тебя добрым ковалем?

Насчет «доброго коваля» старик под хмельком чуток прихвастнул. Он сам умел не много: подковать коня, оттянуть колесо и еще кое-что. Но Семен и за это был благодарен. Дальше он пошел сам. Спросил у старика: «Зачем подсыпают песок в горн?» — «Так надо!». Оставшись один, попробовал нагревать металл без песка и увидел, что окалины больше получается. Ага, ясно! Подмочил один лемех после оттяжки, снова находка. Лемех тверже становится, меньше тупится.

Когда бедняки двух деревень, Попасного и Новопокровки, организовали коммуну, Семен Пятница без особых колебаний вошел в нее. На осуждающие замечания знакомых и родственников с усмешкой отвечал:

«Это вам примерять надо. И коняку жалко, и свою телегу. А я все равно что пролетарий. И так на всю деревню работаю, и в коммуне буду на всю деревню.» Семен Ефимович немного недоговаривал. Его в коммуну тянуло главным образом то, что туда присылали новые машины: сеялки, жатки. А в довершение ко всему пришел и трактор. Увидев его, деревенский кузнец потерял покой. Как же это так? Весь железный, а едет без коня и без вола, да еще может бричку или плуг за собой тянуть? Стараясь не быть навязчивым, расспрашивал у тракториста: откуда берется сила в машине, которая крутит тяжелые колеса? Тот был добрый, общительный. Рассказывал, даже рисовал в кузнице на песке схему двигателя.

Ощупью, на свой лад Пятница быстро ухватил суть: трактор — это как жатка, но наоборот. Жатку тянут кони, колеса крутятся и приводят в движение нож и крылья. Тут же, в тракторе, кони заключены внутри двигателя. Они крутят вал, а он уже передает силу на колеса...

Коммуна просуществовала недолго. Вскоре в Попасном организован колхоз «Смычка бедноты». Многих товарищей и одногодков Семена стали посылать на курсы трактористов: Кривенко, Мусинова, Рожкова... Кандидатуры будущих трактористов обсуждались широко, на общих собраниях. Пятница каждый раз ждал, что кто-нибудь выкрикнет:

— Давайте пошлем Сеньку-коваля!

Но о нем никто не вспоминал. И Семен, стиснув от обиды зубы, уходил после собрания домой. Вот ведь как оно обернулось! То его кузнечная специальность приносила радость: все-таки, кузнец на селе — фигура! А теперь эта специальность стала гирей на ногах. Конечно, кто ж отпустит на курсы единственного в колхозе кузнеца?

Потеряв надежду сесть, по крайней мере, в ближайшее время за руль настоящего, заводского трактора, Пятница решил сделать свой, с ветряным двигателем. Вечерами вместе с помощниками Терентием Прядухой и Федором Носовцом чертили они на песке около дверей кузницы план будущего самохода, клепали на старый диск от сеялки крылья ветряка, устраивали для него поворотный круг из обода отживших свой век конных граблей, прилаживали передачу от вала двигателя к колесам, взятым от старой сенокосилки. Возможные обороты подсчитывали в уме, потому что на бумаге множить и делить никто не умел. Слух о том, что Пятница над чем-то колдует по вечерам, разнесся по селу. В кузницу зачастили односельчане. Одни изумлялись, другие хихикали, богомольные старухи и старики страшали: «Бога побойся, Сенька!»

Но страх перед богом и чертом, впитанный вместе с хлебом и борщом, которые перед едой крестил дед, страх, въедавшийся в каждую пору вместе с кизячьим дымом в темной землянке, в бурные дни ломки де-

ревенской жизни постепенно и вроде даже незаметно для самого Семена рассеивался. Он забывался, как привычка низко кланяться, входя в узенькую и коротенькую дверь землянки. В новом доме у Пятницы была высокая дверь, с учетом богатырского роста хозяев.

В первой половине апреля тридцать третьего года улица в Попасном подсохла, дул крепкий и ровный ветер — степнячок. Пятница с помощниками смазал свой самоход, выкатил его из затишка, включил передачу и... к удивлению десятков зевак, незамедливших собраться около кузницы, поехал против ветра. Те, кто еще пять минут назад изводили изобретателей насмешками, бежали рядом, просились: «Сеня, прокати!» Семен Ефимович разрешал, но не больше, чем трем человекам. А сам правил в край деревни, к хате председателя колхоза Хижняка. Тот принародно клялся: «Если, Семен, ты на своем чудо-юдо-самоходе хоть пять сажень провезешь меня, отпущу тебя на курсы трактористов!» Семен Ефимович подъехал к ограде Хижняка, посадил председателя рядом с собой и отвез к кузнице. «Чудо-юдо-самоход» прошел не пять сажень, а около трех километров. И еще бы шел, но поломалась старая шестеренка.

Хижняк, хоть и покатался на необыкновенном тракторе, а слова своего не сдержал. Не очень удобно, конечно, было встречаться с Пятницей, но забота о колхозе взяла верх. Пока Семен в кузне, за инвентарь можно не беспокоиться. А молодые его помощники — кто их знает, как они будут к работе плуги, сеялки и косилки готовить?

Летом во время молотбы Семен Ефимович вместе с бригадиром тракторного отряда придумал и поставил на молотилку «М-900» транспортер, или, как они его называли, самотаск, который сам подавал из кладей немолоченную массу на полку. Приспособил он ручную силосорезку к конному приводу. Частенько выполнял сложные заказы МТС и других колхозов.

Ветряной трактор начал помаленьку забываться. И вдруг как-то приносит почтальон телеграмму: «Попасное, Пятнице Семену Ефимовичу. Вы зачислены подготовительное отделение института машиностроения сельского хозяйства и должны прибыть к началу учебного года...» Семен Ефимович еще раз перечитал. Куда это надо прибыть? На всякий случай спросил у почтальона — он ведь все равно читал телеграмму:

— Слушай, а что это за штука — институт?

— Не знаю, не слышал.

Только месяц или два спустя все прояснилось после встречи с начальником политотдела МТС Гофманом. Увидев Пятницу, Гофман сделал удивленное лицо:

— Дорогой изобретатель, а почему ты не в институте? Я специаль-

но привозил представителя института смотреть на твой трактор и тракторер, хлопотал за тебя...

— Шо вы, товарищ Гофман, инженерством ему голову забиваете, — немедленно вступился Хижняк. — А кто будет жатки к уборочной готовить? Потом, как он уедет? У него ж пятеро детей мал мала меньше, старики... Я что ли кормить их буду?

И еще долгих три года стоял у кузнечного горна Семен Пятница. Вечерами, складывая по слогам слова, читал учебники тракториста и комбайнера. Когда выпадал случай, смотрел, как знакомые ребята ремонтируют машины, помогал. Выждав удобный момент, чтоб не попасть под горячую руку сердитому из-за поломки механизатору, расспрашивал: а почему это делается именно так, а не по-другому, почему могла поломаться деталь? Борясь со своей врожденной застенчивостью, нет-нет да и напоминал о себе директору МТС Смолянинову:

— Дмитрий Павлович, все мои товарищи давно уже механизаторы. Подскажите, чтоб и меня послали на курсы. Я уж сам, дома, кое-что подучил...

Мечта сбылась неожиданно. Перед уборкой в тридцать седьмом году Кривенко привез Семену Ефимовичу бумажку из МТС. Маленькую, в ширину спичечной коробки. И написано-то в ней было всего шесть слов. Но каких! «Товарищ Пятница! Приезжайте принимать комбайн. Смолянинов».

В наши дни это может показаться невероятным: сложную дорогую машину — комбайн — доверяют малограмотному кузнецу, не закончившему даже краткосрочных курсов! Но в наши дни было бы еще более невероятным доверить руководство таким крупным и сложным хозяйством, как МТС, человеку, проучившемуся три месяца в церковно-приходской школе! А Д. П. Смолянинов официально имел именно такое образование. Да плюс четыре года гражданской войны, начиная от участия в известном на Алтае Славгородско-Чернодольском восстании против Колчака и кончая штурмом Перекопа и боями с белополяками. Да плюс годы борьбы на мирном, но не бескровном фронте: в комитете бедноты, на посту председателя первого в своем селе колхозе.

Мы, пожалуй, несколько недооцениваем теперь всего величия и дерзости подвига, совершенного поколением двадцатых-тридцатых годов.

Капиталисты, «помогавшие» молодому советскому государству за золото строить заводы, русские «спецы», бежавшие за границу, да и некоторые из тех, кто не бежал, на то и рассчитывали: темный российский мужик не справится со сложной техникой, переломает все, доведет страну до грани экономической и хозяйственной катастрофы, и тогда большевиков можно будет взять голыми руками. Но они не учитывали, что этот самый мужик темным был не потому, что хотел быть таким.

Его не пускали к свету. Когда же он почувствовал себя хозяином страны, ответственным за страну, в нем проснулись природная сметка, смелость и, главное, желание не быть серым, обреченным от рождения на черный труд и невежество.

Получив комбайн, Семен Пятница целый день ползал около него на коленях и на боку. Он по-своему доходил до того, как устроена машина: жатка такая же, как у лобогрейки, но длиннее, и скошенный хлеб не вилами сбрасывается с полка, а затягивается с помощью ленты в барабан молотилки. Он знал устройство и конной и сложных молотилок. Непонятным оставался для него только двигатель. С какого бока к нему подступиться?

Он уже было впал в уныние, но подошел один комбайнер, другой. Показали, как заводить мотор, регулировать. Комбайнер Прокоп Кукушкин, считавшийся в МТС самым опытным, остался после работы, рассказал о возможных неисправностях и показал, как их надо устранять.

Дней через десять из Попасного пригнали волов и отвезли агрегат из двух комбайнов в поле. Начальником агрегата назначили Пятницу.

Начали первую загонку. Прошли сто метров, двести, триста... Позади торопливо шагали Хижняк, председатель сельсовета Медуница, колхозники. Радовались: сразу двенадцать метров захватывает сноп из двух машин! Хлеб повалил рекой! Но на второй день возчики зерна принесли на ток весть: «Пятница стоит». Фуражир это же сообщил в деревне: «Конечно, не пойдет у него. Это ему не молотком по наковальне стучать!»

Между тем, поломка в комбайне оказалась мелкой, Семен Ефимович ее быстро устранил и снова начал косить, теперь уже один. Конечно, на первых шагах частенько бывали у него случаи, когда он, усталो упав в копну соломы, с отчаянием думал: «Нет, ничего не получится, наверное, из меня. Ну вот, чего он остановился? Чего ему надо?» Однако уже тут, на первых шагах, в нем проявился тот самый характер Пятницы, который впоследствии вызывал изумление и восхищение всех, кто его узнавал вблизи.

Поломки в машинах случаются у всех механизаторов. Но многие стараются поскорее заменить вышедшую из строя деталь и снова работать. Уборка не ждет. Пятница же, прежде чем менять деталь, докопается: а почему поломалась старая? Любя комбайн и только еще познавая его, он не относился к нему, как к чему-то совершенному. Его никогда не оставляла мысль: а нельзя ли тут лучше сделать? Поэтому уже в первые недели он придумал свою конструкцию деревянного подшипника для шатуна ножа и сам изготовил его; изменил регулировку ножа на лучший срез. И главное: раз началась уборка — об отдыхе

забуди! С детства втянувшийся в крестьянский труд, Пятница понимал цену погожего осеннего дня. Он мог сутки и двое не спать, на бегу есть.

Понежиться в постели и над мисками за столом успеется, когда зарядят дожди. Поэтому, пока можно убирать, рви, не считаясь, день ли над степью стоит или светлая ночь, дрожат у тебя от усталости ноги или не дрожат.

Вот так, вырабатывая на ходу свой метод, который в будущем стал предметом изучения специалистов, Семен Ефимович в первый год работы убрал тысячу сто семьдесят гектаров, больше всех в МТС. Сэкономил полторы тонны горючего, намолотил более тысячи тонн хлеба. Высшая его дневная выработка составила сорок пять гектаров, при норме девять. Это был рекорд, и не только в МТС, но и в крае.

Руководители МТС и механизаторы признали Пятницу как опытного комбайнера. Сам же он далек был от такой мысли, хотя в глубине души, конечно, гордился своим первым успехом. Во-первых, он лучше, чем кто-либо чувствовал свои пробелы в знании машины. Во-вторых, продумывая во всех мелочах опыт первой осени, он приходил к выводу: норма на комбайн установлена низкая. Ширина захвата жатки — шестьсот десять сантиметров; следовательно, чтобы убрать девять гектаров, надо проехать где-то меньше пятнадцати километров. Три часа нормальной работы! И делал вывод отсюда: надо сокращать простои. Кажется пустяк: пока водовоз подъедет с бочкой, штурвальный зальет воду в радиатор — пройдет каких-то пять минут. Но за пять минут комбайн может пройти двести—двести пятьдесят метров. Это верные двенадцать, а то и пятнадцать соток!

На будущую осень Пятница уже работал увереннее, убрал полторы тысячи гектаров. В тридцать девятом увеличил выработку еще на сотню гектаров, в сороковом — еще на сотню.

Мечта овладеть чудесными машинами, чтоб сделать сильнее свои руки, осуществилась. Семен Пятница стал признанным мастером уборки не только в своем районе, но и в крае. Однако, жизнь начала подсказывать, что отдаваться только работе, только машинам нельзя. Дети подрастали и требовали отцовского внимания. Жена, обремененная большой семьей, хозяйством, не могла уследить за ними. Да и сладить с мальчишками не всегда у нее хватало сил. Особенно много беспокойства приносил старший, Степан. Физически крепкий, неистощимый на всякие выдумки, он давно стал коноводом среди ребят. И другой раз будто и хорошее задумает, а оно повернется так, что матери с отцом потом стыдно людям в глаза глядеть. Вывел как-то свою армию выливать в поле сусликов. Весенняя степь, вымокшая под снегом, блекло-серая, и суслики такие же. Вот Степан и решил поджечь траву. На черном поле суслика за версту можно будет увидеть. При этом он рассчи-

тал, что ветер погонит огонь к озеру. Но ветер был сильный, трава сухая, и пал, обогнув озеро, пошел на деревню. Взрослым немало трудов стоило отвести беду.

Семен Ефимович тяжело переживал каждую такую проделку сына. Ведь старший, за ним потянутся остальные — Петя, Бяня, Вася. Да и девочки, Вера и Саша... Они ж сейчас вон носятся вместе с мальчишками по улицам! А что значит проморгать детей? Будь ты хоть самым лучшим специалистом, самым добрым и самым хорешим, но если ты вырастил никчемных, не нужных людям детей, ты не просто прожил жизнь даром, ты принес людям горе.

Работая в кузнице, Семен Ефимович обычно привечал, как умел, сыновей. Считал, пусть они лучше около него железками играют, чем будут воробьев зорить. Обязанностей у ребят никаких особенных нет. И он начал старших сыновей брать с собой, на работу. Они ему помогали во время ремонта комбайна, потом выехали в поле, причем, старший в качестве штурвального.

Ритм, который задавал в работе Пятница, не каждый взрослый выдерживал. Бывали случаи, поработает тракторист или штурвальный с недельку и под каким-либо предлогом уходит из агрегата. После признается: «Шо я, скаженный, с этим Пятницей работать? С ним враз грыжу наживешь». Но Степан и Петр — тоже Пятницы. И несмотря на то, что в сороковом году одному было шестнадцать, а другому — тринадцать, они так же, как и отец, если это было нужно, по суткам не спали, в две-три минуты справлялись с обедом, чтобы занять свое место в агрегате. Так же, как и отец, они бережливо относились к каждому болтику и каждой гаечке, не допускали небрежности в уходе за машиной.

Следом за двумя старшими братьями тянулся к машинам и третий, Иван. То обед привезет, то так приедет на велосипеде. И тоже старается, чем умеет, помочь.

Надо сказать, приучая тогда ребят к работе, к машинам, Семен Ефимович на первых порах далеко не заглядывал. Он по-крестьянски просто и резонно руководствовался чисто практическими соображениями: во-первых, хлопцы при деле, на глазах — значит, не избалуются; во-вторых, может быть, полюбят машины, станут механизаторами. Ведь это когда-то коваль был первой фигурой в селе, а теперь главная сила — тракторист, комбайнер, шофер!.. Не думал и не загадывал отец, что это будет специально проведенная им заблаговременная подготовка так пригодится вскоре.

Война оголила села. Крепкие мужчины и многие девчата ушли на фронт, в город на заводы и стройки. Проводили Семен Ефимович и Мария Григорьевна Пятницы в армию и своего старшего, Степана. Работ-

ников почти не осталось, а задачу-то обеспечивать страну хлебом, мясом, маслом с колхоза никто не снял и не мог снять!

Мы, особенно в последнее время, привыкли к многозначным цифрам и не всегда задумываемся, что стоит за ними. В годы войны комбайнов было на полях не густо, кроме того, без достаточного количества запчастей в руках неопытных механизаторов они работали плохо. В селах вынуждены были вспомнить о крюках и серпах.

С убранных гектаров Пятница со своим «пионерским» агрегатом снял триста тридцать тысяч тонн хлеба. Это, учитывая припек, около ста миллионов военных паек по пятьсот граммов!..

В послевоенные годы семейный агрегат Пятницы стал известен всей стране. В газетах замелькали снимки, в МТС зачастили корреспонденты и кинорепортеры. Но Семен Ефимович с каждым днем чувствовал, что жизнь у него становится не легче и работать приходится не меньше. Он стал коммунистом. Это для него означало — на старой славе, на том, что раньше было достигнуто, ехать нельзя. Каких усилий ему потребовалось, чтобы побороть свою застенчивость, робость и начать выступать на собраниях! Но он научился выступать, причем, хорошо.

Слушающим его рассказы, как надо готовить агрегат к уборке, как надо регулировать его для таких хлебов или для таких, даже не приходило в голову, что у этого человека за плечами «академия» Игната Игнатенко да одна зима ликбеза.

Выступать же надо было. Как о всякой незаурядной личности, о Пятнице начали рождаться всякого рода байки. Семену Ефимовичу самому приходилось слышать рассказы «очевидцев», утверждавших, будто бы около его агрегата дежурит летучка с новенькими моторами и всевозможными запасными частями; что машины ему отлаживает целый штат инженеров и механиков.

Но лучше всяких выступлений убеждал пример.

В сорок седьмом году, одном из самых урожайных на Алтае, закончив уборку в своей степной Кулунде, Семен Ефимович выехал в Бийскую группу районов. На станции в Бийске собрались механизаторы из других МТС, специально, чтоб посмотреть комбайны знаменитого Пятницы. Ждали, наверное, что привезут новенькие, с иголочки. Но вот подошли платформы. Старший Пятница задержался где-то. Сыновья, Петр и Иван, стали сгружать машины — обычные «С-1», довоенные еще, с облупившейся краской, с погнутыми от времени рамами...

Притащили комбайны в поле. Приехал Семен Ефимович, поглядел на хлеб: выше, чем в Кулунде, солоmistее. Кроме того, утром обильные росы, вечером — росы. Другие комбайнеры начали скорее косить, а он взялся заточивать штифты, что-то регулировать. Зато потом как запус-

тил моторы — обед подошел, агрегат не останавливается, ужин — тоже. Вечером выпала роса, косить нельзя. Около комбайнов Пятницы запылали копны соломы, для лучшего освещения: члены агрегата начали проводить техход. Ночной ветерок согнал росу — комбайны снова загудели, до утренней росы.

Увидели механизаторы, что и комбайны Пятницы не заговорены от поломок. Случилось, лопнул валик. Семен Ефимович не стал дожидаться летучки. На коня — и в колхозную кузницу. Кузнецы начали отшучиваться: «Нет, браток, вас тут много приезжает, а у нас семьи большие». «Тогда разрешите мне попробовать», — попросил он. Кузнецы улыбаются, ждут развлечения: «Давай, паря. Вон горн, вон молоток.» Откуда им было знать, что робкий на вид комбайнер — тот самый Пятница, умелый кузнец, жестянщик, медник, слесарь. В пять минут он сварил валик, сел на коня и поскакал в поле.

Поглядев на Пятницу в работе, никто уже не верил слухам о запасных моторах. Если заранее подумать о том, каковы будут условия работы, ухаживать за машиной, даже запасных деталей больше, чем их бывает в других агрегатах, не надо. А мотор, если он хорошо отремонтирован, сезон дюжит. Другое дело, предусмотреть все и взять на себя такую физическую нагрузку, какую брал Семен Ефимович со своими помощниками, не каждый мог и не каждый решался.

За два с лишним десятка лет Семен Ефимович Пятница убрал более 60 тысяч гектаров, поднял около четырех тысяч гектаров целины. За этот трудовой подвиг страна наградила его Золотой Звездой Героя, тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета», многими медалями. Коммунисты Алтая дважды избрали его делегатом Всесоюзных партийных съездов.

Опыт Пятницы как комбайнера и изобретателя обстоятельно описан в специальных листовках и брошюрах. Читая их, не можешь не восхищаться поразительной сметливостью, каким-то особым чутьем к технике и логичностью мышления талантливое самородка. Переделывать на свой лад целые узлы в комбайне, или, скажем, отказаться от смазки ролико-втулочных цепей, чтобы увеличить их срок службы, — по плечу ли это когда-то почти неграмотному сельскому ковалю?

Года два тому назад автору этих строк довелось в роли хозяина и старожил знакомить с городами и селами Алтая группу зарубежных писателей. На прощание один из них сказал:

— Что ж, даже туристу видно, сделали вы многое. Хотя и не сделанного еще хватает, и хорошо, что вы не скрываете этого. Но, скажите, вы уверены, что прогресс был бы меньшим, если б не было революции с последовавшими за ней болезненными ломками, перестройками?..

Тогда я, поддавшись моментально вскипевшему чувству протеста,

сказал, что не представляю на своей земле какого-то другого строя и никому не советую представлять. Бесплезно! После же, не раз и не два вспоминая вопрос зарубежного коллеги, думал, прикидывал его к своей судьбе и судьбам своих знакомых, в том числе и к семье Пятницы, за которой я уже более двадцати лет внимательно и с большой симпатией слежу... Конечно, еще до революции купцы умели выколачивать из алтайских сел немалое количество хлеба, мяса и масла. За пятьдесят лет, надо думать, они бы усовершенствовали свою систему, в крайнем случае, подучились бы этому искусству на Западе. Но кем бы тогда были мы, родившиеся и выжившие в крестьянских избах, рядом с телятами и ягнятами? Кем был бы, например, Семен Пятница — типичный представитель своего поколения?

Ведь это только принято так: пятьдесят лет назад поселок, в котором сейчас живет Семен Ефимович, назывался Курским, и теперь так называется. Но старого поселка давно нет, на его месте вырос совершенно новый населенный пункт. Исчезли землянки, подслеповатые мазанки с плоскими крышами. Вместо них выстроились в широкие и прямые улицы большие, современные дома. В каждом дворе мотоцикл, а то и два. Женщины уже забывают о кизяке, ухватах, сковородниках и корытах. В домах газ, редкая семья не имеет стиральной машины, у многих уже есть холодильники.

С каждым новым скошенным гектаром, с каждым прожитым днем и даже минутой, проведенной наедине с собой, менялся, становился богаче, поднимался выше и Семен Пятница. В этом, собственно, и заключается суть, величие и красота нашей ленинской эпохи: освобожденный от пут частной собственности и от отупляющей эксплуатации. Человек по-хозяйски перековывает жизнь, а жизнь заставляет Человека постоянно совершенствоваться, подтягиваться до ее все повышающегося уровня.

Да, Пятнице приходилось не только на уборке выполнять по семь-восемь норм в смену, но и шагать вперед в семь-восемь раз быстрее, чем шагали его деды и прадеды, постигать самоучком и все усложняющуюся технику, и такие житейские премудрости, как умение завязывать галстук, носить костюм так, чтобы в городе не выглядеть деревенским...

Это стало его потребностью — наблюдать и перенимать лучшее. Он первым в своем степном селе разбил фруктовый сад, завел моду садить цветы, по своему плану построил дом — современный крестьянский, без пресловутой печки-паровоза и лавок вдоль стен, зато с ванной. Глядя на него, и соседи начали заводить садики, изгонять живучую старину из домов. Даже, казалось бы, не мужское дело — разные кулинарные секреты, и те не проходят мимо внимания Семена Ефимовича. Если ему где-то встретится незнакомое блюдо и понравится, он не со-

чет за труд подойти к хозяйке и потихоньку спросить: «Простите, пожалуйста, как это кушанье называется и как его готовят?» А что делать? Деревня из века в век поставляла все необходимое к столу, но сама-то питалась кое-как, по принципу: абы брюхо было набито!

Перерастая день ото дня старую деревню и вчерашнего самого себя, Пятница умело отбирал для себя все лучшее, что передавалось из рода в род в крестьянских семьях, и накрепко соединял с новыми традициями. Никто и никогда не видел его пьяным, с папиросой во рту, никто не слышал, чтобы он сорвался в разговоре на крик, сказал грубое слово. Он даже к машине относится примерно так, как умный крестьянин относился к лошади: устал — не устал, но, приехав домой, вначале позаботься о кормилице, а потом уж иди отдыхать или ужинать сам.

Последние полторы тысячи гектаров Семен Ефимович убрал в 1962 году, получил персональную пенсию, но от дел не ушел, начал работать инспектором «Сельхозтехники». Должность инженерская, не легкая. В совхозах, как правило, теперь все специалисты с высшим образованием, у механизаторов за плечами тоже не ликбез, а восьмилетки, да десятилетки и технические училища. Тем не менее, инженеру без диплома работы хватает, и не только в своей зоне. К помощи Пятницы иной раз прибегает и первый секретарь крайкома А. В. Георгиев, тоже, можно сказать, выросший в Кулундинской степи. Нет-нет и звонит, просит съездить в один из районов или совхозов и подучить там товарищей, как надо использовать технику, скажем, на уборке, или как ее ставить на зимнее хранение. И Семен Ефимович едет, дает уроки по-настоящему хозяйского, крестьянского отношения к машине, земле, хлебу.

Однако Пятницу на Алтае знают не только как «профессора сельской техники», но и как главу большой и уважаемой хлеборобской семьи. Гордость охватывает, когда на краевых активах, совещаниях, конференциях при выдвижении кандидатур в президиум звучит:

— Пятница Семен Ефимович, Герой Социалистического Труда...

И затем обязательно: или Пятница Степан Семенович — начальник Красногорского производственного управления, или Пятница Петр Семенович — директор Белоглазовского совхоза, или Пятница Иван Семенович — управляющий отделением Закладинского совхоза, или Пятница Василий Семенович — управляющий Шелаболинским отделением «Сельхозтехники»... И выходят они на сцену — рослые, чернявые, крепкие, как дубки, у всех на груди ордена. И отец — молодежавый, загорелый — выглядит среди сыновей не стариком, а скорее, старшим братом.

Отцовская школа, или, как сыновья в шутку ее называют, — «дедова наука», приговодается молодым Пятницам на каждом шагу. Ка-

жется, мелочь: Петр, работая еще директором МТС в Ново-Егорьевском районе, подъехал однажды к комбайну.

— Почему стоите?

— Да вот, новое полотно не можем надеть. Короткое что ли сделали...

Директор взялся и в две-три минуты надел.

Легко сейчас разговаривать с инженерами и рабочими «Сельхозтехники» младшему из сыновей, Василию Пятнице. Прежде чем изучать машины по учебникам в институте, он, как и старшие братья, десятки раз разбирал и собирал их своими руками. В том же Ново-Егорьевском районе сейчас еще вспоминают, как Василий побил в соревновании опытного комбайнера-кубанца, Героя Социалистического Труда. Безусым мальчишкой, после окончания техникума приехал он погостить к брату, Петру. И загорелся идеей:

— Слушай, Петь, дай, я покажу вашим, как Пятницы работают!

— Если хочешь, как Пятницы, то не кажи гоп, — одернул его по праву старшего Петр.

Но комбайн дал.

Василий съездил, поглядел хлеба, подготовил машину так, как это делал отец, подобрал из молодых ребят штурвального и тракториста. Все-таки не удержался от соблазна погромче заявить о себе — вызвал на соревнование приехавшего с Кубани Героя... И, убрав больше всех в МТС, ушел в армию с орденом «Знак почета».

Довольно часто дети, поднявшись на ноги, становятся «сами с усами» — родителям отдают должное, не забывают их, ездят в гости, но не более. У Пятниц же для всех семерых сыновей и дочерей и семнадцати внуков Семен Ефимович был и остается вдумчивым, неназойливым и, главное, полезным наставником. В мелочи он не вмешивается, морали не читает. Все происходит как бы между прочим.

Был случай: приехал он как-то к Петру, зашел в кабинет. Увидев отца, Петр оборвал разговор с одним из работников совхоза. При этом зачем-то хлопнул по столу ладонью, хотя и сказал мягко:

— Давай на этом сегодня закончим. Зайди как-нибудь потом...

Собеседник Петра понял все, вышел. А отец вместо: «Ну, как живешь, сынок?» — негромко спросил:

— Ты шо ж, товарищ директор, всегда так с людьми разговариваешь?

— Но дело-то не срочное, папа. Я же...

— Смотри, Петро. Тебе с этими людьми жить и работать. Я ведь мог и подождать, и не обиделся бы. А вот с каким настроением ушел этот человек?

Старший сын, Степан, вернувшись с фронта, закончил партийную

школу, работал секретарем райкома партии. Другой бы отец смотрел на сына да радовался. А Семен Ефимович, наведываясь к нему, всякий раз, помявшись, осторожно намекал:

— Что ж, Степа, оно, конечно, можно и так. Но я, если б был молодой, приобрел бы специальность агронома или инженера. Думаю, что тогда от меня и пользы было бы больше.

И добился своего. Степан поступил на заочное отделение сельхозинститута. Несмотря на занятость, большой перерыв в учебе, упорно занимался и получил диплом ученого агронома. Сейчас две дочери Степана учатся в том же институте и тоже будут агрономами.

Не трудно себе представить, что было бы с жиденькой веточкой осокоря, которую Ефим Прокопьевич Пятница посадил в холодную землю, если б щедрое кулундинское солнце не согрело степь. Сейчас могучий, разлапистый осокорь за десяток километров видно, и побеги, взятые от него и посаженные около других хат и в других селах, стоят богатырями.

Не трудно представить, что бы стало с темным работающим хлопцем Семеном Пятницей, если б не взойшло солнце новой жизни и его деревня не начала бы перестраиваться по ленинскому плану.

Жизнь Семена Ефимовича иначе не назовешь, как взлет. Но это птицам, даже детям орла, не дано летать выше и дальше, чем летали их отцы и деды. Как хочется дожить и посмотреть, что напишут будущие очеркисты о детях и внуках кулундинского орла! Ведь время дает им более широкие, более могучие крылья.

Леонид МЕРЗЛИКИН

ЛЮБОВЬ И ЖЕРДИ

РАССКАЗ

Не заходя в контору, ветврач Репкин направился прямо к конюшне.

— Миرونыч! — окликнул он сутулого мужика. — погоди, Миرونыч. Запряги-ка Гнедуху, на ферму съезжу. — Репкин протянул Миронычу руку. — Как думаешь, свинарки там не разбежались?

— Да ить как сказать? — Миرونыч пожал плечами. — Время-то обеденное.

— Во-во! Мне обеденное как раз и нужно. Прививку пороссятам делать буду.

— Колоть, значит?

— Ага! Шприцом под кожу, чтоб веселее хрюкали.

Миرونыч уже запряг Гнедуху и вывел ее на дорогу. Репкин с бегу завалился в ходок. Гнедуха пошла неровной, но крупной, какой-то култыхастой рысью.

Свинарники располагались за селом, на взгорье. Репкин любил их созерцать издали и ни разу не сосчитал, глядя на одинаковые, под белым шифером крыши, однако, если бы его спросили, сколько на центральной усадьбе свинарников, он бы ответил совершенно точно: пять.

Репкину вообще не нравилась арифметика, а с годами он ее даже возненавидел. Еще в институте он стал замечать за собой непонятные странности: стоит, бывало, в гастрономе за колбасой или селедкой, стоит и невесть о чем думает. Подоспела очередь, надо чек выбивать, а ничего не подсчитано; люди напирают, сверлят глазами затылок, и Репкин сует кассирше бумажку, какая покрупней.

Женился Репкин тоже не совсем обычно. Его Мариша, тогда еще студентка третьего курса ветеринарного института, того самого, где

учился Репкин, была старше своего будущего супруга ровно на три года. Дородная, со степенным скуластым лицом и мужским характером, она все решила за себя и за Репкина. Завела как-то в девичье общежитие, в свою комнату, выпили, а потом уехали к ее тетке. А еще через месяц сыграли свадьбу.

Репкин никогда не увлекался спиртным, а тут (то ли опять арифметика подвела?) перебрал по рюмкам. Кто раздевал, кто укладывал — ничего не помнит. Проснулся утром. Солнечные зайчики прыгают по полу, жена под боком посапывает. Жена... Репкин смотрел на нее долго и изучающе.

— Мариша-а... — позвал он ее тихо. — Спит. — Репкин лежал, боясь пошевелиться. — И пускай спит. Чего будить-то?

И вдруг как ошпарило: жених, а упился, как последняя хрюшка. Башка трещит, во рту будто кто портянки полоскал. Позор!..

Репкин настолько живо представил то далекое утро, что невольно передернулся в ходке.

Между тем Гнедуха, обогнув овражек, подвезла его к избушке, где обычно отдыхали свинарки. Он спрыгнул на землю. В загороде резвился молодой, у ветряного колодца скулила неизвестно кем привязанная собака. Репкин отворил дверь избушки и его кто-то чуть не сбил с ног.

— Тише ты!

— Мышь! — взвизгнула прошмыгнувшая мимо него свинарка. — Там! — Она показывала в глубь помещения.

Только теперь Репкин заметил еще двух свинарок, которые сидели над фанерным ящиком и перебирали пересыпанные опилками яйца.

— Добрый день!

— И вам так же!

— А чего это Сомова перепугалась?

— Мышонка нашла. Дохлый. Сунула руку в опилки, а он и прилип.

— Ван Вань! — позвали Репкина со двора. — Гнедуха пошла!

Репкин выглянул из дверей.

— Гнедуха, говорю, пошла, — повторил человек в шапке и махнул рукой в сторону села.

— Ты б сбегал, остановил. А? — Репкин вопросительно посмотрел на шапку.

— Да я не управлюсь.

— А ты через овражек.

— Ну, если так, — человек почесал за ухом, — можно. — И мелко мелко зашаркал сапогами по жухлой траве.

Но лошадь уже перестрели мальчишки и всю погнали к свинарникам. Репкин поставил ее у столба, но почему-то опять не привязал, вернулся в избушку, сел у окна.

— Так что ж с прививкою? Где остальные свинарки? В лес по грибы? — Репкин шуршит залистанной газетой. — Сомова, ты же комсомолка.

Сомова выпрямляется:

— А вы скоро нам жерди пришлете?

— Какие жерди?

— Деревянные. На открытую загородь.

— Я ж не зоотехник, — Репкин хмыкает, мотая головой, мол, и нашла же о чем...

Сомова поправляет платок:

— Вот пойдем, разгородим ваш огород, тогда узнаете.

— Ну-ну! — Репкин полушутя, полусерьезно грозит пальцем. — За это можно и уши надрать.

Он обводит глазами комнату. В дверь просовывается шапка.

— Опять пошла!

— Кто?

— Гнедуха.

Репкин встает и идет на улицу. Далеко, за овражком, одиноко бредет Гнедуха. «Вожжи бы не запутались, — думает Репкин, — дальше конюшни никуда не уйдет». Ворочаться в избушку не хочется, с прививкой, видно, ничего не выйдет. Не податься ли домой? А что дома? Нет, надо дожждаться свинарок.

— Я им... — грозитя про себя Репкин, хоть и знает, что строгости в нем ни на грош; да и свинарок вон сколько, а он один, вениками закидают. А на грибы теперь самая пора... Репкин аппетитно шевелит губами.

Из осинника по ветру доносится песня. Репкин вглядывается в пестреющие платки и кофты.

— Она, — узнает крайнюю, — Валя.

Свинарки перестали петь и молча приближаются к ферме. У кого ведро, у кого корзина-плетенка, а у кого кастрюля с бечевой через два ушка. Отяжелели посудины, книзу тянут. Свинарки то и дело меняют руки, перегибаясь на ходу то влево, то вправо, смотря по тому, с какой стороны ноша. Они тоже заметили Репкина, переглядываются, смеются.

— Добрый день!

— Здравствуйте, девоньки, касатаньки, чтоб вас... Вакцина ведь пропадает!

Свинарки окружили Репкина, ставят на землю посудины, молчат. Они знают, что никакая вакцина не пропадет, просто так получилось: собрались и пошли за грибами, а с вакциной и завтра не поздно.

Из дверей высовывается Сомова:

— Валь, — кивает на Репкина.

Валя поняла.

— Ван Ваныч, нам бы жердей.

Репкин трет щетинистый подбородок. Он что-то хочет сказать сви-наркам, но Валя не унимается.

— Всего с десятков.

— Да что я вам — склад какой или лесозаготовка? На это есть зоо-техник. А я что?

— А вы повлияйте.

— А ну вас! — Репкин отворачивается и отходит, плечи его как-то безвольно опускаются.

На селе знали, что ветврач, как выразился однажды Мироныч, «втерехамшись в Вальку». Знали все: и директор совхоза, и механизаторы, и сама Валя, и, за кого особо боялся Репкин, его жена Мариша. Но та и виду не подавала. Занятая в семье, а семья немалая: четверо детей да разбитая параличом свекровь, Мариша кружилась с утра до поздна. Всех накормит, напоит, спать уложит. И опять же сядет догляд нужен. А придет Репкин с работы — щи на стол. Сядет Мариша пред светлые очи мужа, обопрет голову кулаком, поглядит, поглядит да и вздохнет сквозь улыбку.

— Чего смеешься? — скажет Репкин.

— Ешь, ешь...

Репкину в мужской компании не раз говорили:

— Как бы тебя за твои шуры-муры жена не выхолостила.

Репкин сердился, краснел и отмалчивался.

— Брехуны! — ругался он мысленно, но не знал, как приторочить языки.

Однажды зазвал его в кабинет директор совхоза и говорит:

— Не знаю, с чего и начать... Понимаешь, Иван Иванович, заковычка тут... — Директор сидел за столом и смотрел в открытое окно. — Говорят, ты с девкой какой-то спутался? С Неждановой, что ли?

— Так то ж говорят, — Репкин сел на стул и замигал белесыми ресницами. — Всякое можно наговорить.

— Да, всякое... — согласился директор, продолжая глядеть в окно. — Видел я вас как-то в клубе... А в общем, смотри сам. Мой совет — не путайся. — Директор повернулся к Репкину. — Вызвал я тебя, конечно, не по этому вопросу. Надо срочно... — И директор заговорил о неотложной поездке в дальнее отделение.

Репкин слушал, наморщив лоб, но внимание раздваивалось, ускользало. А за окном шумели тополя, накрапывал дождь.

Выйдя из конторы, Репкин, чего с ним никогда не случалось, завернул в чайную, заказал спиртного, закурил и устался на аляповатую картину местного самородка.

Эх, Валя, Валя...

Вспомнился тот вечер у клуба. В клубе было жарко, танцевали на открытой, сбитой на скорую руку площадке. Репкин зашел просто так. Нет, танцевать он и не думал. Просто баянист выделял такое...

Валя первая заметила Репкина.

— Дамский вальс! — Она подбежала, почти силком втащила Репкина в круг, сперва сама повела, потом положила обе руки на его плечи — дескать, веди, — опустила ресницы и... Ноги у бедного ветврача стали ватными, он топтался, крутился, стараясь попасть под музыку, ему казалось, что вроде получается, и в то же время чувствовал — над ним смеются. Скорей бы все это кончилось! Но баянист и не думал останавливаться. Репкин вспотел. Он вел Валью, вел старательно и обреченно, выделявая порой такие кренделя, что самому становилось жутко от сознания того, насколько они смешны.

И вдруг баян смолк. Кто-то объявил: «Ди штунде ист цу енде! Танцы окончены!». Все заспешили к выходу, лишь Репкин стоял посреди площадки, не зная, куда себя деть. Наконец сообразил и двинулся вслед за всеми.

В конце аллеи, ведущей из парка, Репкин столкнулся с директором совхоза. Тот стоял перед щупленьким баянистом, вернее громоздился над ним. Репкин приподнял кепку в знак приветствия, но тут же заторопился. В проулке он догнал Валью.

— Хороший ты, Репкин, человек. Добрый. — Валя зябко повела плечами.

— И ты...

— Нет, Репкин, я злая. А ты добрый. Вон сколько наплодил детей-то.

Некоторое время шли молча.

— А знаешь, когда я пригласила тебя на вальс, я ведь хотела только посмеяться и других посмешить. Скучно!

— Съездила бы куда...

— Вот именно — куда... Эх, Репкин, Репкин, червонец ты неразменянный. А любить меня не надо: хлопот не оберешься... Ведь любишь?

— Откуда ты взяла? — Репкин потер подбородок.

— Ой, мамоньки! — Валя даже прихлопнула себя по бедрам. — Да ты и врать-то еще не научился! Ну, ладно. Дальше не провожай.

Она резко остановилась (Репкин чуть не натолкнулся), взяла его за уши (Репкин не сопротивлялся), притянула и, смеясь, чмокнула.

И все. Где-то хлопнула калитка, щелкнул засов.

С вечера и до глубокой ночи по всей луговине скрипят коростеля. Речка узкая, илистая. Камыш да осока. Там и обитает эта птица.

— Скрип-скрип-скрип...

Репкин сидит на крыльце, курит. Ворот рубахи расстегнут, брюки заправлены в зеленые носки — жена вязала.

— Скрип-скрип-скрип...

И вдруг — хрясь! Где-то в огороде. И шорох. И опять треснула жердина. Репкин приподнялся, всматриваясь в темноту. Никак девки огород разгораживают?

— Эй, кто там?

Репкин сошел с крыльца. Возня не унималась.

— Бросьте озоровать! — Репкин открыл воротца в огород и, минуя грядки огурцов и лука, направился к подсолнухам. Теперь он знал, откуда шум — с низовины. Там до самой межи капуста.

— Эй, девки!.. Валя! Ты?

Гулко застучало сердце. Репкин остановился у изгороди, не зная, куда ступить. Раздвинул подсолнухи, побрел прямо, наугад.

Вот!..

Перед ним стоял козел, самый обыкновенный козел!

— Ты как сюда попал?

Репкин сцапал его за рога, подтянул к коленям и, запустив свободную руку под брюхо, поднял и перевалил через изгородь. Козел только мекнул, но возмущаться не стал, посмотрел на Репкина, крутнул хвостом и побрел, сочно похрустывая листом капусты.

Репкин выплюнул потухшую папиросу...

Дома, уже в постели, он спросил задремавшую было жену:

— Мариш... У нас лишних жердей не найдется?

— А зачем они тебе? — жена повернулась к нему.

— Да так...

Репкин долго ворочался, несколько раз вставал покурить и уснул только под утро.

А жена всю ночь пролежала пластом, притворяясь спящей. Она думала о Репкине, о его запоздалой любви, о себе, о детях. Ревность жгла и точила ее сердце, но всепрощающая и в то же время торжествующая улыбка проступала на окаменевших губах: Мариша знала своего мужа. И когда, сонный, он прижался к ней и, тихо постанывая, забормотал что-то то ли о воле, то ли о Вале, она лишь погладила его по голове и повернула на бок, чтобы не храпел.

СОЛДАТ И БАКЕНЩИК

РАССКАЗ

1

Второй день по реке шел лед. Огромная живая масса медленно двигалась по воде, наполняя окрестности непрерывным тугим шумом. Иногда появлялись льдины-гиганты, на которых просматривались куски зимних дорог с конским навозом, с клочками зеленого сена.

В полдень на берегу появились двое: солдат в сопровождении местного бакенщика. Лед поредел, но у противоположного берега, где проходил фарватер, напор его почти не ослабевал.

— Так, говоришь, ничего не выйдет, — солдат смотрел на быструю воду.

— Так, значит, и говорю.

— Ну и жила ты!

— Жила не рвется.

— Эх, дядя, дядя, где тебя взяли только!

— Там же, где и тебя. Только лет на тридцать пораньше.

— Ты пойми, пойми! — убеждал солдат. — Я полтора года дома не был. Кое-как отпуск выслужил. Мне всего десять дней дали, а этот чертов паводок, может, неделю будет идти. Что же я, по-твоему, должен ждать?

— А я, по-твоему, лодку должен гробить? Она как-никак двести целковых стоит. Да мотор еще. Ты посмотри, какие льдины! Враз распорют лодку. Чище чем ножом.

— Да они же редко идут.

— Это посредине редко. А у того берега что? Там самая глубь.

— Тогда хоть до острова добрось. Может, меня на той стороне ждут. Брат должен ждать. Он похрабрее тебя, глядишь, перевезет... Ну? А то вот возьму ту долбленку и поплыву. Утону — век тебя совесть будет мучить.

— Давай, давай! К этой колодине потом только крышку — и гроб готов. Если тебя найдут. А не найдут, налимам на прокорм. Налимы справных уопленников любят.

— Слушай, дядя...

— Какой я тебе дядя!

— Ладно, не обижайся! Я ведь по-свойски. Может, все-таки перевезешь на остров? Век не забуду. Мать ждет.

— Гы, мать!.. Сам, поди, не так к матери, как к залеточке рвешься. Знаю я вас! Не успеешь с матерью двумя словами перебраться, как смотаешься в клуб.

— Нет, правда, мать ждет. Сестренка еще.

— А брат?

— Брат — он отдельно живет. Жена его с матерью не ладила, потому и ушли...

Бакенщик махнул рукой, что-то пробормотал. Встал с полусгнившего чурбана тополины и нехотя пошел к берегу, где покачивалась на воде подновленная «казанка» с мотором. Из носового отсека достал капроновую, метров двадцати бечевку, на одном конце которой был привязан красный целлулоидный шар. Свободный конец привязал к корпусу мотора.

— Кораблики пускать собираешься? — сверкнул зубами солдат.

— Пескарь ты в этом деле! Утонет лодка, потом ищи-свищи. А у меня поплавок, за версту видать.

— Отчего она у тебя утонет?

— Как отчего? Чиркнет хотя бы топляк по днищу, вот и суши концы. Головой думать надо, а не другим местом.

Бакенщик попробовал, крепко ли привязана бечевка, заглянул в бак с горючим, сел на кормовую скамейку и снял валенки с глубокими лытыми калошами. На ногах его остались теплые, по-видимому, кроличьи носки.

— Ну, пескарь, садись.

— Неужели перевезешь? А если...

— Что — если? Гундел, гундел, а теперь на попятную?.. Сапоги-то скинь. Они у тебя не меньше как килограмма по два каждый. Лучше всякого якоря потянут. Шинель тоже сними, накинь на плечи. А ноги в мой ватник заверни.

— Ты будто перевернуть меня собираешься.

Бакенщик не ответил. Приказал хмуро:

— Возьми весло, вдруг где льдина, оттолкнешь.

Он привычным движением дернул за приводной шнур. Мотор кашлянул несколько раз, потом заработал ровно и надежно.

Переправа на остров заняла не больше пятнадцати минут. Бакен-

щик уверенно вел лодку, ловко лавируя между проплывающими льдинами, с опаской обходя вывороченные половодьем деревья.

Жизнь на острове понемногу просыпалась. Кричали первые весенние птицы. Где-то блеял бекас. По веткам деревьев сновали мелкие пичужки.

Бакенщик причалил лодку к выброшенному водой топляку, неспеша обулся и вышел на берег.

— Ну, Робинзон, вылазь. Осматривай владенья. А мне домой пора.

Солдат ловко натянул яловые с блестящими подковами сапоги, взял чемодан с множеством чудных наклеек и пружинисто выпрыгнул на песок.

На противоположном берегу никого не было. Лишь могучие талины покачивали голыми ветками, да одинокая заброшенная избушка тоскливо смотрела на реку темными проемами окон. Неширокой полосой по самой стрежнине шел лед. Льдины сталкивались с глуховатым шумом, лениво ворочались. Они то надвигались друг на друга, то проваливались в темную густую воду. Казалось, что река дышит тяжело и редко. О переправе на ту сторону нечего было и думать.

— Эй, пескарь, может, обратно двинем? Переночуешь, а завтра видно будет.

— Нет. Я подожду. Может, лед скоро пройдет. Да и брат должен встречать. Он что-нибудь придумает.

— Смотри, тебе виднее. Пока совсем не стемнело, заготовь дров для костра, а то ночью будешь костями греться.

— Знаю. Не впервой.

Мерно застучал мотор, бакенщик направил лодку к дому. В селе, которое расположилось на склоне пологого взлобка, загорелись первые огни.

2

Ночь была по-весеннему плотной и обстоятельной. Влажная речная темень заполнила все пустоты и казалась почти осязаемой. Даже пламя костра с видимым усилием боролось с этой темнотой.

Завернувшись в шинель, Алексей смотрел в костер. По реке звонко раздавались ночные звуки: со свистом пролетали юркие чирки, где-то надрывалась кряква, в деревне слышалась нестройная пьяная песня. «Гуляют. Теперь в селе работ почти никаких, вот и гуляют. Брат, наверное, тоже загулял». От этой мысли Алексею стало немного обидно. Ведь мог хотя бы на берег приехать. Переправиться, конечно, нельзя, но все-таки...

Мысли путались, и обида на брата то терялась между ними, то сно-

ва всплывала. Приходили на память строки из материнских писем: «Митька живет теперь отдельно. Жена его к нам не ходит и Митьке не велит. Но он как выпьет, так заходит. Посидит молчком и уйдет»...

Костер догорал. От подступающей дремоты Алексею не хотелось вставать, чтобы подбросить дров.

Вспомнилась часть, товарищи по службе, напряженная до звона солдатская жизнь. К сердцу прилила теплая ласкающая волна от сознания того, что все это сейчас далеко, что какое-то время он волен в своих действиях: сам себе начальник, сам себе подчиненный.

А главное — отдохнет от чужого шумного города, закованного в серый камень, от непонятной речи и постоянной оторванности от обычной человеческой жизни с ее живительным разнообразием и постоянным общением с родными и близкими... Обязательно сходит на охоту... На Выворот. Там теперь самый лёт...

Алексей очнулся от равномерного всплеска и металлического поскрипывания.

— Эй, пескарь, не одубел еще?

— Нет. Шинель-то у меня, поди, суконная. А ты что на веслах?

— В темноте шпонку сгубить — раз плюнуть. Да и винт можно угробить... Никого там не было? — бакенщик кивнул в сторону берега.

— Нет. Брат, видно, загулял. С вечера пели в деревне. А ты что сюда?

— Не спится что-то. Решил на воду посмотреть, да к тебе заодно завернуть. Который час?

— Скоро три.

Алексей подбросил сухих валежин в костер и с силой дунул на тлеющие угли. Пламя лениво лизнуло сушняк и тут же бойко запрыгало в извечном танце.

— Ты, случаем, не в Германии служил?

— Как догадался?

— Есть примета, — усмехнулся бакенщик. — Чемодан вот... В Берлине не бывал?

— Бываю, и часто.

— И у рейхстага?

— И у него.

— Врешь!..

Бакенщик торопливо достал помятую пачку «Прибоя» и с жадностью закурил. Задумчивые, немного нелюдимые глаза его заметно оживились.

— Фамилию мою там не видел?

— Где?

— Да на рейхстаге. У главного входа, на третьей колонне справа.

Д. Брагин, старшина. Такими большими печатными буквами. За сто сажен видать.

— Да ты что, батя? Надписей давно уже нет!

— Как нет?

— Очень просто. Ликвидировали их. Рейхстаг — национальный памятник культуры. Вот и соображай.

— Как же вы там позволили? — бакенщик зло сплюнул в сторону; казалось, что его кровно и незаслуженно обидели. — Да на этот рейхстаг с надписями стеклянный колпак поставить и хранить для внуков и правнуков, чтобы помнили, что такое фашизм и кто его разгромил!

— А ты, батя, не заливаешь насчет своей фамилии? Сейчас что-то много таких объявилось, надписей бы на всех не хватило.

Бакенщик дернулся, медленно встал и тягуче посмотрел на Алексея, словно перед ним лежал не человек, а выброшенный водой топляк.

— Я думал, ты солдат, а ты...

Бакенщик не нашел подходящего слова, мудроно выругался и неспешно направился к лодке.

— Ты чего? Я ведь так, сдуру! — Алексей виновато и неуверенно поспешил за бакенщиком. — Хошь, я тебе фотографию надписей достану? Есть такие. Их немецкие коммунисты сделали.

— Сдуру, говоришь? — бакенщик круто повернулся и сердито посмотрел на Алексея. — Дурость в человеке с соплями должна пропадать. Как под носом перестало блестеть, значит человек умнеть начал...

Бакенщик еще мгновение раздумывал, потом вернулся и снова опустился у костра.

— С фотографией ты здорово придумал, — примирительно сказал он, — память будет. Затем безо всякой видимой связи с предыдущим разговором начал: — Была у меня невеста. Красивая такая девка, видная. Не один фонарь носил за нее от деревенских парней. А она будто не замечала ни фонарей, ни меня. Долго так она меня мучила. А потом... Идем раз с вечеринки, она говорит: «Данил, отойдем-ка в сторонку». Отошли мы за угол, а она и поцеловала. Сама!.. Умерла. Вот в такой же воде искупалась и умерла. — Он помолчал, раскуривая сырую папиросу. — После оказалось, у нее ни одной фотографии не было. Так и забыл, какая она...

Бакенщик тяжело, с утробным хрипом вздохнул, бросил папироску в костер и повернул голову в сторону реки.

— Однако лед прошел. Заболтались мы с тобой, не заметили.

Алексей подошел к берегу. Перед ним в предрассветной зыбкой дымке текла мутная, непокорная в весеннем разливе река. Изредка еще проплывали небольшие ноздреватые льдины, но того пугающего шороха трущихся друг о друга громадин уже не было.

— Ну, пескарь, гуляй в лодку!

Переправились быстро. Всю дорогу молчали, каждый думая о своем.

На берегу Алексей открыл чемодан и с самого дна достал завернутую в чистую пару портянок бутылку «шнапсу».

— Давай, старшина Брагин, выпьем за возвращение рядового Логина на родину... И еще за рейхстаг с надписями.

— Давай.

Они по очереди выпили из складного пластмассового стаканчика. Закусили.

— Ну, пока! Не забудь про фотографию.

— Не забуду.

Алексей помог оттолкнуть лодку и еще долго стоял на крутом берегу, глядя на нервные взмахи весел, напоминавшие чем-то крылья неоперившегося утенка.

И уже вдогонку, сложив руки трубой, крикнул:

— А насчет пескаря ты все же ошибся. Меня ершом дразнили!

Электронная библиотека www.elib.atlib.ru

к б
бар

ных

смо

сто

бле

фан

нув

рон

с кр

скр

для

втор

бек

ТРИ РАССКАЗА

1. УТЕНОК

Мы смотрели вниз. Там, на воде, сцепленные бортами и подтянутые к берегу, стояли две маленькие баржи. Пара бревен лежала поперек барж, как две ровные колеи.

Бурья стремительно гнала воду. Воронки дышали холодом, и в равных облаках куталось июльское солнце.

— Я еще раз спрашиваю: кто загонит трактор?

Начальник северной группы партий ждал смельчака. Мы молча смотрели вниз, никому не хотелось рисковать жизнью.

Мы — это разный народ: кто из института, кто по набору, кто просто так.

Я стоял в яркой оранжевой сорочке с большой металлической эмблемой на груди. На сером фоне таежных спецовок она пылала, как факел. И начальник СГП, глядя на меня, сказал: «Пижоны!» — и, сплюнув, влез в трактор. Потом он открыл дверку и крикнул, чтобы посторонились. Все отошли, а я стоял и смотрел вниз. Если трактор ссунется с крутизны, если не выдержат бревна, если разойдутся баржи, Бурья скрутит судорогой и затянет мертвый узел.

Трактор медленно полз к берегу и, пропустив его, я неожиданно для себя прицепился сзади. Начальник, оглянувшись, увидел меня.

— Какого черта...

— Немного юзит, — закричал я.

Соглашаясь, он кивнул головой.

— Бревна трещат! — Он опять кивнул.

Выехав на первую баржу, я спрыгнул с трактора и перелез на вторую.

Я махал рукой, как дирижер, и трактор плавно повиновался.

Когда трактор замолчал, я влез в кабину. Начальник вытащил «Казбек», и мы закурили.

Я курил впервые, но не кашлял. Он спросил:

— Сильно разошлись бревна?

— Порядком, но их можно подбить под гусеницы и закрепить.

— Тебе, наверное, лет восемнадцать?

— Точно.

— А мне в два раза больше...

Мы докурили, и он показал на берег:

— Зови их, закрепляйте бревна. Будешь бригадиром.

Когда баржи отчалили, ко мне подошел коренастый бородач.

— Старшой, вот ты потерял, возьми.

Это была эмблема. На ней знакомо смеялся утенок.

Он-то, конечно, знал, что я впервые в жизни сидел на тракторе.

И я с размаху бросил его в Бурею.

2. ПЛАСТИНКИ

В Хабаровске я купил три долгоиграющих пластинки из серии «Вокруг света». Я получил аванс, и мне предстояло его отрабатывать далеко на севере Хабаровского края, в одной из партий ленинградской экспедиции.

Вечером в клубе северной группы партий танцы. Мне весело. Начальник СГП — мой друг. Сегодня я помог ему загнать на баржи трактор. Мне весело. Я танцую «Тип-топ». Завклубом крутит мои ультрамодные пластинки. Ленинградских студенток удивить трудно, но они удивлены. Это я удивил их. Это я вместо всяких снаряжений взял с собой в тайгу пластинки из серии «Вокруг света».

Я приглашаю самую красивую девушку на танец, и она идет со мной. Ей весело. Она спрашивает меня:

— Вы так всегда улыбаетесь?

Да, я так улыбаюсь всегда. Но она портит мне настроение. Она подходит к парню в зеленой робе и медных очках. Она подходит к ведущему клубом:

— Саша, не надо этой долгоиграющей нервности.

Мои пластинки отложены. Я должен забрать их. После такого конфуза подарить их клубу невозможно. И я забираю пластинки и ухожу с танцев.

Мне больше не весело. Я слышу, как смеется красивая девушка. Мне нехорошо. Я готов выбросить пластинки, но они не виноваты.

Утром мы выезжаем в партию. Вначале мы плывем по Бурею, а потом едем на тракторе. Вернее, мы едем на железных санях-пене, так здесь они называются. На пене стоят бочки, а на бочках сидим мы. Я,

Валерка Субоч и красивая девушка-ленинградка. Я с ней не разговариваю, Валерка Субоч разговаривает с ней.

Я смотрю, как земля скользит под пеней и как вылетают из-под пени искры. Пеня крошит камни; когда проезжаем через поваленные деревья, она сдирает с них кожу с мясом. Валерка Субоч разговаривать умеет. У него нет нервных пластинок. Пластинки я держу в руках, в красной сетке, чтобы не раздавить ненароком.

Мы подъезжаем к Суларине, к речке, несущейся с огромной скоростью. Она несется с гор, она мчится к Бурее — своей старшей сестре.

Вода перепрыгивает через валуны и пенится. Вода в Суларине кипит, как в котле, камни варятся в этой воде.

Мы останавливаемся. Подходят два водителя, и мы вместе еще раз веревкой связываем бочки и все предметы на пене. Я вешаю сетку с пластинками на дерево, чтобы они не мешали мне в работе, и забываю о них.

Мы въезжаем в воду, и вода набрасывается на нас. Теперь нас на бочках двое: Валерка Субоч и я. Ленинградку забрали в кабину. И это хорошо. Мы сидим на бочках и держимся за веревки, вода норовит смыть нас.

Вода перепрыгивает через колени и вдребезги разбивается о валуны. Холод заходит в ноги, и кости ног начинают ныть, как больные зубы.

Трактор выползает на берег, и мы спрыгиваем с бочек для разминки. Трактор глохнет, но на берегу это не опасно. Ленинградка подзывает Субоча и показывает рукой на тот берег. Они смеются. Я тоже смотрю на тот берег и вижу красную сетку с моими пластинками. Они чуть покачиваются на ветке.

Мне становится пусто. Все смотрят на меня, и от этого еще хуже. Я остаюсь в одних трусах и надеваю сапоги. Без сапог нельзя, можно покалечить ноги и разбиться о камни.

Березовая палка после трех шагов в воде сгибается в дугу. Но я все равно опираюсь на нее, она сейчас мой единственный друг. Я иду медленно, вода давит на бедро, и брызги мешают мне смотреть.

На другом берегу я привязываю сетку с пластинками к шее и нахожу более надежную палку.

На меня с противоположного берега смотрят трое парней и одна девушка. Хотя нет, девушка смотрит не на меня, она смотрит на тайгу. Это очень красивая девушка.

Трое парней смотрят на меня, они что-то кричат мне, но Суларина шумит сильнее.

Суларина кипит и злится. Злись сколько угодно, ты мне уже не страшна. Я выхожу из воды и пью спирт. Я надеваю одежду и сажусь

в кабину к самой красивой девушке в мире. Один из водителей переходит вместо меня на бочки.

Мне тепло. Девушка улыбается и просит поддержать мою ценность. Это мои пластинки. И еще девушка хочет, чтобы одну из них, с танцем «Тип-топ», я подарил ей.

Валерка Субоч привстал на бочках, так ему лучше видать нас.

Я не смотрю на Валерку, я смотрю, как впереди тайга расступается перед нами.

3. Я ВЕРНУСЬ

Шесть дней шли дожди. Сегодня дождя не будет. Яркие кристаллы звезд сияют утренней свежестью. Редкие куски туч сползают на запад.

Я смотрю на восток. Там, на востоке, из-под земли бьет огненный фонтан света. Там, на востоке, поднимается солнце. Там, на востоке, меня ждет новая жизнь. Меня призывают в армию.

Я должен добраться до Буреи к вечеру. Оттуда в центр СГП пойдут катер.

Я мог бы вылететь в военкомат на вертолете, как все призывники нашей партии. Но в тайге у меня есть дела. Никому не надо знать о моих делах в тайге. И потому я иду один.

Мне надо пройти тридцать километров. Это много, но мне пришлось ходить и больше. В моем рюкзаке бутылка спирта, шесть банок свиной тушенки и четыре булки хлеба. В моем рюкзаке шесть пачек концентратов и десяток коробок спичек, завернутых в целлофановый мешочек. В моем рюкзаке две пары нательного белья, мыло, паста, зубная щетка и полотенце. Больше ничего нет в моем рюкзаке. Потому что охотничий нож удобнее всего носить на поясе, а две пластинки из серии «Вокруг света» всего надежнее нести в руках.

Эти пластинки я купил в прошлом году в Хабаровске.

Эти пластинки мне дороги, и за них мне не надо тысячи рублей.

Я иду легко. Искрятся капли дождя, заря полыхает в полнеба, предвещая небывалое солнце.

Вышорканные мокрой травой сапоги блестят, как зеркальные. Я иду ровным шагом. Ритм ходьбы нельзя нарушать. Бег по тайге удлиняет путь. Ритм. Ритм. Ритм.

Я не вижу солнца, но уже знаю, что оно встало. Его не видно из-за деревьев. Ритм. Ритм. Ритм.

В девять часов утра я подошел к Суларине. Я не люблю эту речку. От дождей она совсем обезумела, вода прибывает на глазах. Я привязываю сетку с пластинками к шее, беру потолще палку, и Суларина бежится вокруг моих ног.

Если меня собьет с ног, мне никто не поможет — я один. Но мне не страшно, мне даже хочется, чтобы Суларина меня сбила с ног и разбила о камни.

Но Суларина меня не может сбить с ног. Она боится меня, потому что девушку, самую красивую в мире, которую я люблю, Суларина убила.

Я знал, что сегодня вскормленная дождями Суларина будет сильной и злой. Но разве Суларина не знала, что я приду к ней в этот час? Я отбрасываю палку, я сам ее бросаю. Суларина наваливается на меня. Я стал к ней грудью. Она разбивается о мою грудь, заливая лицо.

Я снимаю рюкзак и забрасываю пластинки за спину, я иду вперед, держа рюкзак впереди себя.

Я перешел через Суларину без палки.

Я разбил колени и руки, но я не разбил пластинки.

На берегу развел костер и натерся спиртом. Остатки спирта выпил и пошел вверх по берегу.

Ровно в полдень я был на могилке. Шесть серых камней лежат на ней крестом. На тридцать метров вокруг я вырубил здесь деревья и кусты. Я вырубил их так, чтобы могилке было видно эту кипящую речку.

Я вырубил их потому, что не знал, что можно еще сделать для человека, которого люблю.

Я бросаю рюкзак и падаю на могилку. Здесь никого нет, можно не стесняться слез и разговаривать громко.

Я говорю могилке:

— Эля, Элечка, я иду в армию. Я принес тебе две те наши пластинки из серии «Вокруг света». Ты их сохрани. Я за ними вернусь. Я не могу не вернуться за ними.

Я ухожу от Эли в полдень.

У меня больше нет никаких дел в тайге. Я иду на восток. Я иду в армию, и небывалое солнце плещется надо мной.

ОЖИДАНИЕ

РАССКАЗ

Она работала кассиром в районном кинотеатре. Каждый день, кроме понедельника, она появлялась в своем окошке и продавала билеты на два сеанса — на восемь и десять вечера.

Каждый день, заранее, в школьной тетрадке она рисовала планы зрительного зала и в них отмечала проданные места. И у нее уже накопилось несколько таких тетрадок с планами. Кое-где она делала на них пометки — когда звонило районное начальство и просило оставить места. А когда зрителей было мало — рисовала вокруг планов домики, цветочки, а то и красивые туфли с бантиками... Словом, делала то, что делал бы любой, коротая время.

Зрители постарше относились к ней с уважением и обязательно называли Машенькой. Ее, конечно, это трогало, она, пожалуй, даже гордилась этим, но это вовсе не значило, что с остальными Машенька была холоднее. Всех она выслушивала с мягкой улыбкой, всех одаривала чистым взглядом глубоких голубых глаз, в которых было нечто затаенное...

А было в них — ожидание.

Вот уже второй год Машенька, с тех пор, как стала продавать билеты, ждала, что однажды вечером к ее окошку подойдет парень. Тот самый! Какой — и сама не знала. Но если бы он подошел, она бы сразу поняла, что это — он! Пусть бы только подошел...

Подходили. Разные. Высокие и не очень. Застенчивые и шумные. Чистюли и неряшливые. Внимательные и такие, для которых Машенька словно и не существовала.

Подходили. А его не было.

Тогда-то и появилась в глазах Машеньки тоскливая затаенность, которую можно было прочесть так: «А его все нет!».

Иногда Машенька менялась. В ней возникал этакий вызов, щеки весь вечер горели, она в упор взглядывала на парней, словно обвиняла,

словно спрашивала: «Ну, где же вы, рыцари?». И часто от такого ее взгляда парни терялись, особенно кто был помоложе, и старались поскорее отойти от кассы.

Летом приехали студенты. Отличные ребята. Веселые, шумные, независимые.

Гурьбой они подходили к окошку. Острили, говорили комплименты. Но все это было какое-то ненастоящее, от неумеренной городской развязности.

Подходили...

Машенька не помнит, как подошел ОН. Пожалуй, даже не подошел, а появился, возник — и вытеснил сразу все и всех: все лица, все filmy, все улыбки, все книги.

Он был высокий и к окошечку кассы ему пришлось нагибаться.

— Пожалуйста, мне в проходе, — сказал он.

Машенька несколько секунд не могла сообразить, о чем он говорит, потом поняла, отметила седьмое место (в самом центре!) в двенадцатом ряду, потом отсчитывала мелочь на сдачу и никак не находила десятикопеечную монету, хотя их было достаточно.

Когда начался, наконец, сеанс, Машенька тоже осторожно вошла в зал, села на свободное место и стала незаметно поглядывать в его сторону. В общем-то, во время сеанса увидишь немного. Она могла рассматривать лишь его профиль, когда на экране шли светлые кадры. Но в бледных отсветах экрана парень казался Машеньке еще интереснее, значительнее. Все в ней наполнилось трепетом ожидания. Она стала представлять, как однажды они пойдут рядом, он будет провожать ее домой, и Машенька не совсем ясно, будто в тумане, увидит его лицо — близко-близко, и он будет держать ее под руку или положит свою руку ей на плечо. И ей будет непривычно и приятно ощущать тяжесть его руки, и ей станет хорошо-хорошо, как бывает зимой, когда на улице буран, а ты сидишь в тишине и тепле с книгой или слушаешь музыку...

Зажгли свет. Захлопали сиденья.

Он ушел, не обратив внимания на Машеньку. Правда, он и не знал о том, что она в зале. Но мог бы увидеть! Она так хотела и боялась этого.

Не увидел...

На следующее утро Машенька увидела его издали на площади у райисполкома. И опять, конечно, он ее не заметил, потому что грузил с парнями на машину треноги, рейки, ящики. Видимо, они были топографы. Машенька слышала раньше, что в районе собираются строить прямую дорогу через лес. Эти парни и приехали, наверное, намечать ее... Долго она смотреть не могла — все вокруг знакомые! — и свернула в магазин.

Вечером он снова попросил билет в проходе.

Машенька почувствовала, пока отмечала место, что он смотрит на нее пристально и смело. И она не съежилась от этого, не испугалась, а тоже взглянула на него — открыто и вопросительно. Теперь-то он ее заметил! Увидел!

Поблагодарил и ушел. Даже не оглянулся.

И еще дважды брал билеты на десять.

Теперь уже здоровался. А Машенька за эти дни его всего изучила: правая бровь чуточку рассечена («Наверное, в детстве подрался!»), глаза темно-голубые, такие же, как и у нее («Даже можно принять за моего брата!»), руки загорелые и крепкие...

В следующий вечер он спросил:

— Вам самой, наверное, и в кино сходить некогда — все нам продаете?

«Пригласит... сейчас пригласит!.. Что же делать?» — От этой мысли Машенька смешалась, покраснела.

— Нет, я хожу... На десять... После журнала.

— А где же вы сидите?

— А вот, — она показала на плане, — шестнадцатое место в двенадцатом ряду.

— Так мы, оказывается, любим один и тот же ряд?

— Выходит, так.

— Ну, спасибо... Звонки! — И пошел.

«Любим один и тот же ряд! — вздохнула Машенька. — Стесняется, что ли?.. Что делать?»

К следующему вечеру она перебрала все свои наряды. Остановилась на белой блузке и черном сарафане — и скромно, и контрастно. Он тоже пришел в белой сорочке с галстуком. Был весел, приветлив, с улыбкой смотрел на Машеньку.

— Пожалуйста, на десять два билета, — попросил он.

Машенька быстро подала: двенадцатый ряд, седьмое место.

— Два билета! — сделал ударение на «два».

Она посмотрела непонимающе, для нее это было слишком неожиданно: «Как это — два?! Почему?» И вдруг она поняла: что-то происходит, мендется! Вспыхнула — и подала еще один билет, потому что парень ничего больше не сказал, только выжидательно смотрел на нее.

«Господи, а если он берет мне?..» — Машеньку бросило в жар, она боялась услышать следующие его слова.

— Спасибо, — негромко, словно извиняясь, произнес он и ушел.

«Дура! — сказала она себе. — Дурочка!»

В зале потом увидела: рядом с ним сидела Катя Ковалева, студентка, будущий медик; она была у матери на каникулах.

«Нашел! — горько, разочарованно думала Машенька. — Три года в городе проучилась, а кроме прически ничего нет!» — И вышла из зала.

Направилась домой. На деревянном тротуаре поскрипывал песок. Оказывается, вон как неприятно скрипит песок на тротуаре!

«Не судьба, — подумалось Машеньке. — Сочинила это я все!»

Днем она опять несколько раз ловила себя на этом обидном и беззащитном: «Не судьба». А о Кате уже стала думать по-другому: с завистью. Если уж Катя привлекла такого парня, то есть, наверно, в ней что-то такое, чего нет в Машеньке.

Когда он снова пришел за билетами, Машенька тут же подала ему два, приготовленных заранее. Она хотела казаться спокойной и даже надменной. Но ничего у нее не получилось.

— Машенька... — сказал парень удивленно и участливо, видимо, догадываясь о том, что с ней происходило. — Машенька...

— Идите, — тихо проговорила она, не поднимая головы от плана.

Несколько человек, стоявшие за ним в очереди, подозрительно и многозначительно смотрели ему вслед и усмехались.

Машеньке трудно было дожидаться начала сеанса. Глаза то и дело заволакивало, выступали слезы.

Она вышла из кинотеатра, как только начался фильм. Было прохладно и безлюдно. Села на скамейку под березами. Прислонилась к ребристой спинке, задумалась, забылась. И стало казаться, что ничего не произошло, да и не было ничего: ни парня, ни Кати, ни ее обиды.

А было только одно — ожидание...

Однообразно, как малосильный, но вечный ручей, лопотали над Машенькой березы. И было странно, что они шумят, — ведь погода стояла безветренная.

Владимир КАЗАКОВ



СЕНТЯБРЬ

ГЛАВЫ ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ

Качаются последние дожди.
Им далеко до летних громких ливней.
Все чаще постоянным гостем иней
с утра на каждой веточке дрожит.
Земля готовится отдаться сну.
Спокойный, неторопкий стылый ветер
безжалостной рукой деревья метит —
чтоб власть свою
и волю подчеркнуть.
...Еще один листок в календаре
напомнил мне,
что за порогом осень,
что в окружении берез и сосен
очередной негромкий день сгорел,
что тесен мир
изученных тревог
и замкнут круг
привычных представлений
о значимости пройденных дорог,
о ценности раздумий и сомнений.

Не потому ли захотелось вдруг,
свои потери трезво подытожа,
пускай на час,
но сделаться моложе,
вступая в новый поисковый круг.
Пройти опять
по тем же самым тропам,
как раньше,
каждый камушек любя,
и, пусть на миг,
до боли, до озноба —
узнать себя,
почувствовать себя.
Поверить,
что судьбу свою отныне
решаешь только ты,
и только ты.
Что никакая сила не отнимет
ни прямоты твоей,
ни правоты.

II

О, мое деревенское небо,
золотое мое жнивье!
Так случилось,
что, где бы я ни был,
мы всегда с тобою вдвоем.
Ты вошло в меня, и открылась
мне впервые твоя доброта.
Не тогда ли душа запросилась,
потянулась рука к холстам.
Не тогда ли отчетливо понял:
по земле преступно ходить,
если ты любовью не пойман,
если ты не способен любить.
Не способен понять и заметить
под прикрытием бетонных плит
постоянную боль на свете —
боль твоей усталой земли.
Ожиданье ее и желанье
быть планетой тепла и добра.

И решил я наше свиданье
с ней
доверить семи ветрам.

III

В упор глядит Россия на меня
и требует настойчиво к ответу:
ты ничего в себе не разменял
на похвалы и мелкую монету?
А я не знаю,
что сказать в ответ.
Я, как и все,
случалось, ошибался,
о равнодушии сердцем ушибался
и клял судьбу порою
на чем свет.
Но если становилось невтерпеж,
никак не мог свести концы с концами —
не прятал я за пазухою камень
и не носил за голенищем нож.
Но если доводилось «бунтовать»,
кричать о справедливости забытой,
была мне и примером и молитвой
вся жизнь отца,
которому не встать,
который вынес на своем горбу
груз пятилеток,
войн
и недородов,
который честно прожил свои годы
и не показывал спины врагу.

IV

А осень продолжает быть во мне.
А осень продолжает бить по мне.
Мой поезд пол-России простучал,
но не меня к вокзалам шли встречать.
Не на меня смотрели сквозь стекло
людская радость, женских глаз тепло.



ОДУВАНЧИК.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



СИЛУЭТЫ.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Я вспоминал. Я память гнал назад,
туда, где камни с морем говорят.
Где по звенящим лестницам крутым,
сегодня простучишь с работы ты.
Я забывался. Мне казалось вдруг —
ко мне спешит тот дробный перестук.
Но поезд шел, на стыках грохоча,
и не меня к вокзалам шли встречать.

V

Я себя вспоминаю.
Небо,
море
и ветер.
Синева, синева
и опять синева.
Я забыл,
на каком из морей
тебя встретил,
где тебе довелось
у меня побывать.
Одного не забыл:
поднялась из волны ты,
встала рядом на вахте,
и не стало морей.
Пахли руки твои
настоем смолистым
и тоской неземною
морских якорей...

VI

Я по осени тихо-тихо
прохожу,
никуда не спеша.
Вдруг навстречу мне
солнце лосихой
выплывает,
листвой шурша.
С грубоватостью добродушной
положило лучи на плечо.

Говорит негромко:

— Послушай!

Открываю я
жесткий счет
всем потерям твоим
и победам,
всем бессонницам
по ночам...

Прохожу я за солнцем
следом,
не снимая лучей
с плеча.

А потом, осторожный и тихий,
я стою и гляжу, не дыша,
как оно из доброй досихи
превращается в огненный шар.
Как белесая паутина
разрывается о лучи...

Не впервые путем недлинным
в лес иду, я душу лечить,
где однажды отчетливо понял:
по земле преступно ходить,
если ты любовью не пойман,
если ты не способен любить,
не способен понять и заметить
под прикрытием бетонных плит
застарелую боль на свете —
боль твоей усталой земли.

Ожиданье ее и желанье
быть планетой добра и тепла...
Вот и кончилось наше свиданье,
осень дальше куда-то пошла.
Я лежу на листе взъерошенной;
ветер только что чертом прошел.
Человек с душой растревоженной —
это, знаете, — х-о-р-о-ш-о!

Пусть придется в листву еще
падать,
и решаться: быть или не быть...
Берегу свою горькую память,
чтобы крепче землю любить...

В старом Барнауле

ШТРИХИ ВОСПОМИНАНИЙ

Адриан Митрофанович Топоров давно и широко известен в нашей стране. Учитель, селькор, зачинатель и страстный поборник новой, советской культуры, журналист, писатель. Человек щедро, разносторонне даровитый.

Много лет он жил на Алтае. Еще в предоктябрьское десятилетие учительствовал в Барнауле, а в 20-х годах — в коммуне «Майское утро» Косихинского района. Здесь и родилась его уникальная книга «Крестьяне о писателях». Она создавалась на родине космонавта Германа Титова, в среде его односельчан, родственников и родителей. И нет ничего удивительного в том, что ныне Топорова называют духовным дедом космонавта-2.

В этом году Адриану Митрофановичу исполняется 78 лет. Из них более полувека он отдал народному просвещению, многогранной культурно-просветительной деятельности и литературному труду. Его имя впервые появилось в печати 61 год назад, и до наших дней оно нередко встречается в самых различных советских изданиях.

Недавно Топоров завершил большую мемуарную работу. Это записки о пережитом, о том, что было в нем общественно значимого, о том, что приходилось автору видеть, слышать и делать, в том числе и во время своей жизни в Барнауле.

Старый Барнаул... Каким он был? Все ли мы знаем о нем? Ведь этот в прошлом небольшой город имеет богатую двухсотлетнюю историю.

Записки Топорова в значительной степени восполняют наши представления о Барнауле предреволюционных и первых послереволюционных лет. Познавательное значение живых, ярких черточек прошлого, схваченных острым и приметливым глазом автора, бесспорно, хотя, как и всякие мемуары, они не лишены известного пристрастия к изображаемому. А самое главное — записки позволяют читателю самому сравнить и увидеть, как широко шагнул наш краевой центр от тех далеких, теряющихся в туманной дымке времен.

Ф. ЕЛЬКОВ.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

В Москве, в Центральном Военно-Историческом архиве хранится «дело» о политическом процессе революционной организации «Воля» (одной из ветвей народофильства), действовавшей под руководством известного революционера Германа Александровича Лопатина. Этот процесс, известный под названием процесса «21», тянулся в 1885—1887 годах. Архивные материалы о нем составляют 47 объемистых томов.

По лопатинскому процессу проходил и революционер Леонид Петрович Ешин, сын обедневшего дворянина, бывший студент-юрист Харьковского университета.

Отбыв каторгу в Сибири, он несколько лет жил там вольнопоселенцем. Женился. Имел четырех детей. В 1905—1906 годах принимал активное участие в революционном движении в Бийске. Снова подвергался арестам.

В 1909 году вернулся на родину в село Старый Лещин Курской губернии. Жил у сестры Александры Петровны, которая после смерти жены Леонида Петровича воспитывала его детей. Здесь-то я и познакомился с Леонидом Петровичем Ешиным.

Энциклопедически образованный, многогранно талантливый человек, горячий поборник народного просвещения, он стал заботливым наставником в моем самообразовании.

Как известно, дореволюционная Курская губерния была едва ли не самой захудалой во всей России. А «бразды правления» ею держали в своих лапах махровые черносотенцы-мракобесы.

Революционеру Леониду Петровичу Ешину не было житья-бытья в «душной родной стороне». К тому же, он был влюблен в Сибирь — страну необозримых просторов, неисчислимых богатств, в страну великого будущего, в которое он верил незыблемо.

Сибирь неотразимо влекла к себе. И в конце августа 1912 года вся семья Ешиных, а с нею и я двинулись в «край чудес».

Мы осели в Барнауле. Леонид Петрович устроился на работу в земельном отделе Управления Алтайского округа кабинетских владений, а я получил место учителя в соборной Петропавловской церковноприходской школе, в центре города. Школа эта считалась образцовой. В ней будущие педагоги проходили практику...

По недостатку необходимых для того специальных знаний, я не берусь давать полную экономическую характеристику Барнаула тех лет, но, по-видимому, он был богатым купеческим городом. Через Бийск и Барнаул, по могучим водным артериям — Бии и Оби — направлялись за границу грандиозные потоки даров Алтая: сливочного масла, мяса, пушнины, кож, меду, рыбы, пшеницы, муки, сала... На барнаульской



А. М. Тоноров в 1914 году.

пристани тянулись длинейшие склады торговых представительств Англии, Голландии, Бельгии, Германии, Швеции, Норвегии и других государств.

В зимнюю морозную пору к ветеринарно-санитарной станции по многим улицам шли бесконечные ряды саней, заваленных тушами предназначенного к отправке за границу мяса — для клеймения.

В огромном подвале на Пушкинской улице торговал колониальными товарами татарин Бахтияров. Здесь круглый год продавали имущим горожанам виноград разных сортов и стран, апельсины, лимоны, мандарины, персики, бананы, винную ягоду, дыни, арбузы, груши, сливы, яблоки, вишни, кокосовые орехи, урюк, сладкие рожки и т. д.

А универмаги Второва, Морозова, Смирнова, тоже предназначенные для «чистой» публики, могли бы стоять на любой центральной улице Москвы или Петербурга. Магнату Второву принадлежали огромные торговые дома еще и в Бийске, Томске и прочих сибирских городах.

Пароходовладельцы братья Мельниковы и Илья Фуксман, пимокат и шубник Поляков, «электрический и мельничный король» Платонов, купцы Суховы и Федуловы, пивозаводчики братья Ворсины тоже были крупными капиталистическими тузами в Барнауле...

Уже в начале века Барнаул входил в ряд культурных центров Сибири. Культуру принесли в него многочисленные политические ссыльные, осевшие здесь на вольнопоселение. С ними были тесно связаны путешественник, исследователь Центральной Азии, ботаник, этнограф, географ и фольклорист Григорий Николаевич Потанин, другой не менее крупный исследователь Сибири, археолог и писатель Николай Михайлович Ядринцев, открывший развалины древней столицы Монголии — Каракорума и доказавший существование в Центральной Азии древнейшей самобытной письменности. Г. Н. Потанин по своим общественно-политическим взглядам принадлежал к буржуазно-либеральному течению сибиряков-областников, а Н. М. Ядринцев — к народническому.

В культурной жизни Барнаула Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев оставили глубокий след. Не могу не отметить удивительного для того времени факта. С 1912 года в фойе Народного дома (теперь краевого театра) висели три прекрасных портрета: социалиста-революционера Василия Константиновича Штильке, Григория Николаевича Потанина и Николая Михайловича Ядринцева.

В. К. Штильке был инициатором создания в городе Народного дома и учительской библиотеки при нем. Как с этим мирилось царское начальство — остается загадкой!

Политические ссыльные добились открытия в Барнауле общегородской библиотеки, которая помещалась на Бийской (ныне Никитинской) улице, где теперь работает телефонная станция (д. № 90). Заведовала библиотекой тоже политическая ссыльная Ульяна Павловна Яковлева, самоотверженно преданная делу народного просвещения.

И ныне стоит на Никитинской улице Барнаула домик под номером 145, в котором почти шестьдесят лет тому назад поселились Ешины и я. Он принадлежал некоему Боброву, управляющему предприятиями купца Федулова.

В семью Ешина стекались самые интеллигентные люди города: литераторы, артисты, адвокаты, композиторы, певцы, политические ссыльные, хормейстеры и дирижеры оркестров, художники, лучшие преподаватели учебных заведений. Эти собрания посещали и либерально настроенная жена заместителя начальника Алтайского округа Мария Николаевна Андреева, и начальница частной женской гимназии Мария Флегонтовна Будкевич, ее муж Эдуард и дочери. Супруги Будкевич когда-то были политическими эмигрантами в Швейцарии. Дети их получили высшее образование в Цюрихе.

Разговорам и дебатам по разным вопросам науки, политики, литературы и искусства не было конца в квартире Ешиных! Я, как губка воду, жадно впитывал их, пополняя свои скудные знания, вынесенные из церковных школ.

Взяв курс на народный университет имени Шанявского в Москве, я усиленно готовился к поступлению в него. В школе я вел только один класс. В час дня занятия кончались. Свободного времени у меня оставалось уйма. Внешкольной общественной работы — никакой. После обеда я уделял два часа переписке нот: в них нуждались оркестры и хоры, которых в Барнауле и тогда было много. А ноты я писал красиво, как печатал, и потому имел заказов по горло. Зарабатывал на переписке нот изрядно, копил деньги на учебу в Москве. Вел спартанский образ жизни. Продолжал учиться игре на скрипке, беря уроки у лучших педагогов города. Не пил, не курил. Аккуратно посещал театры, кино, концерты. С четырех до семи часов вечера регулярно работал в городской библиотеке: читал, делал выписки, конспектировал. Тут моей наставницей была Ульяна Павловна Яковлева, опытный «лоцман по книжному морям». Она приучала читателей вдумчиво и добросовестно работать над книгой. С этой целью учиняла выборочные собеседования с нами, своего рода экзамены по прочитанному. Не раз и я попадал к ней на такие экзамены. Принесешь, бывало, книги на обмен, а она поманит тебя пальчиком в свой директорский кабинетик и начнет допрос. Хорошо помню такой:

— Ну, что прочли?

— «Новый Органон» Франциска Бэкона Веруламского.

— Ага... Поняли что-нибудь?

— Понял.

— О чем же он говорит в этой книге?

— Об опытном, индуктивном, методе познания мира.

— В чем же он заключается?

— В том, что все предметы и явления внешнего мира познаются нашими внешними чувствами, опытом, а их восприятия проверяются нашим рассудком.

— Так, так... А покажите-ка выписки из книги.

Показываю.

— А как до Бэкона философы познавали мир?

— Умозрительно, без опытных доказательств или эмпирически, то есть накапливали факты, не проверяя их собственным рассудком.

— Ну, идите, меняйте книгу...

Эта маленькая женщина в больших темных очках, делавших ее похожей на летучую мышь, давала всем читателям полезнейшие советы о самообразовании. Если нужных книг в городской библиотеке не доставало, то по особому заказу Ульяна Павловна добывала их даже из-за границы.

Конспектов, записных книжек, читательских дневников и карточек для картотеки цитат, вырезок из газет и журналов у меня накопилась куча! Они были неизменными спутниками и помощниками в моей массовой культуре.

В Барнауле я проработал массу первоклассной научной литературы. О художественных произведениях уж не говорю: я «проглотил» их невзвест сколько!

Леонид Петрович Ешин убедительно разъяснил мне, что учитель, по самому роду его профессии, — публичный оратор и что поэтому он должен правильно и красиво читать и говорить. Мой пестун часто повторял излюбленный афоризм из знаменитой книги французского академика Легуве «Чтение как искусство»: «Голос — это такой толкователь и наставник, который обладает дивной, таинственной силой».

И я, сколько позволяли силы и способности, учился ораторскому искусству; учился упорно, ежедневно, штудировав книгу О. Озаровской «Школа чтеца», сборники речей судебных и политических корифеев.

В искусстве выразительного чтения я тренировался один у себя в комнате. Воображал персонажей из прочитанных книг, искал интонации их голосов, жесты, мимику; размечал в тексте логические и грамматические ударения, психологические паузы, разгадывал подтекст. Стоя перед зеркалом, произносил обвинительные речи, например против городничего из «Ревизора», Иудушки Головлева; или, начитавшись потрясающих антирелигиозных сочинений А. Мальвера, Ростиславова, Мордовцева, «обличал» безумную роскошь, корыстолюбие и ханжество высших монашествующих иерархов; или защищал на воображаемом суде Катюшу Маслову...

Все добытое в этих изнурительных упражнениях я применял потом при чтении художественных произведений детям и взрослым.

Врезался в память эпизод из первых дней моей чтецкой практики в Барнауле. Дело было в необычной аудитории.

Зима 1913—1914 годов. Барнаульское филантропическое общество

собрало беспризорников в школу при Богородской церкви. В программе сбора значилось: назидательное слово о детском благонравии, художественное чтение, пение и чай с мясными пирожками.

Устроители сбора предложили мне прочесть детям какое-нибудь художественное произведение. Я выбрал несколько глав из книги «Приключения барона Мюнхгаузена».

И вот я стою перед страшной аудиторией. Грязные, озлобленные страданиями лица, лохматые головы, одежда — замызганное, зловонное тряпье. Голые пальцы ног торчат из разбитых ботинок, обутков и пинов. Несчастное юное человеческое «дно» шумело, гудело, толкалось и ругалось...

Назидательное слово священника оно пропустило мимо ушей. Настал мой черед. Читаю о попытке барона залезть на луну по бобовому растению, о разорванной лошади, о жареных утках. Мои слушатели постепенно затихают. А через две-три минуты они хохочут во всю матушку-головушку! Затихают — и снова хохочут.

Закрываю книгу. Крики:

— Дядь, еще, еще читай!

— Хочь одну еще!

— Ой, баско!

— Хлопает*, а интересно!

— Дай нам эту книжку!

— Дай, пожалуйста!

И я совершил преступление: подарил ребятам библиотечную книгу, а вместо нее купил библиотеке другую.

ГАЗЕТЫ И КНИГИ

В мое время в Барнауле выходили две газеты: «Жизнь Алтая» и «Голос Алтая». Первую издавал либеральный купец Вершинин, торговавший головными уборами и имевший типографию. Сын его был членом Государственной думы. В 1912—13 годах газету редактировал известный сибирский писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков, эмигрировавший во Францию, а затем в Америку, где и скончался в 1964 году. Первые его произведения отличались яркостью изображения сибирской природы, трагедии деревенской бедноты, страдавшей от захребетников. Однако в своей огромной эпопее «Чураевы» он изменил прежней демократической направленности, превратившись в заурядного бы-

* Хлопает — врет.

тописателя и религиозного мистика. Все написанное им за рубежом проникнуто пессимизмом и отрицанием революции.

Вслед за Гребенщиковым «Жизнь Алтая» редактировал социалист-революционер, бывший учитель Акиндин Иванович Шапошников. Наиболее талантливым сотрудником газеты был юрист по образованию, поэт и краевед Порфирий Алексеевич Казанский, печатавший свои ядовитые стихотворные фельетоны под псевдонимом «Премудрая крыса Онуфрий».

На литературных диспутах и судах публика с исключительным интересом ожидала остроумных выступлений карикатурно-низенького оратора с лицом бледно-песочного цвета, с пискливым, как у девочки, голоском.

Порфирий Алексеевич был едва ли не самым эрудированным барнаульцем. Он мог экспромтом прочесть увлекательную лекцию о Рафаэле, Паганини, Рубенсе, Репине, Бетховене, Чайковском, Шаляпине, Павлове, о материалистической диалектике, о расшифровке Шампольоном древнеегипетских иероглифов, о поэзии Шота Руставели, Шекспира, Мильтона, Гете, Блока и т. п.

Он знал и любил родной край, состоял членом Общества изучения Сибири. О ней он написал много краеведческих работ. Ей посвятил и два сборника стихотворений, изданных в Барнауле: «Песни борьбы и надежды» (1917 г.) и «Родному краю» (1918 г.). Сборники эти в наши дни являются библиографической редкостью.

На чьи средства издавалась газета «Голос Алтая», трудно сказать, но основной штат ее сотрудников подобрался тоже из политических ссыльных — социалистов-революционеров и социал-демократов. Подставным редактором числился некто В. Досекин, а активными сотрудниками были Леонид Петрович Ешин и ссыльный Лашкевич. Фельетоны и публицистические статьи Леонида Петровича, подписанные псевдонимом Нето (Никто), имели большой успех у публики. Проведав настоящую фамилию Нето, читатели аплодировали ему при встрече в саду или фойе Народного дома.

К сотрудничеству в «Голосе Алтая» Леонид Петрович привлек и меня. Я начал с рецензий на спектакли и концерты.

Бедная редакция газеты помещалась на Томской улице (ныне ул. Короленко), на втором этаже кривого и трухлявого домишка. Было опасно подниматься по прогнившей лесенке в затхлую комнатку, в которой утопая в табачном дыму, сидел щупленький морщинистый редактор В. Досекин.

Недолго протянул «Голос Алтая» — и замолк навсегда. В «Жизни Алтая» я опубликовал одну большую статью «Драма», в которой излил негодование по поводу самоубийства сельского учителя, затравленного

жандармами. Читатели хвалили эту статью, но из-за нее я попал в неловкое положение. Когда я пришел в редакцию за гонораром, мне сказали:

— Гонорара вам не положено.

— Почему?

— Вы в рукописи не указали, что желаете получить за статью гонорар. Потому и не платим его.

Я и облизнулся!..

Недалеко от угла Пушкинской улицы и Соборного переулочка (ныне Социалистического проспекта), в небольшом домике, ютился единственный тогдашний в Барнауле книжный магазин Василия Кузьмича Сохарева.

Низенький, красно-рыжий, юркий, с узенькими и стреляющими во все стороны глазками Василий Кузьмич был кипучим коммерсантом культурного типа. Он вышел из сельских учителей, но бросил школу и занялся книжной торговлей, стремясь на этом поприще и заработать побольше, и принести пользу делу народного просвещения.

Имея только двух подручных, он орудовал довольно солидным делом, вникая во все его детали. Постоянно и внимательно следил за лучшими литературными новинками, непременно читал их, критически оценивал, и потому каждому покупателю давал полную характеристику любой книги. Плохих книг он не продавал. Покупатели это хорошо знали, верили его рекомендациям и никогда в этом не раскаивались.

Как человек, интересовавшийся широким кругом вопросов общественной жизни, науки и культуры, Василий Кузьмич изучил эсперанто и даже написал и на свой счет издал в Барнауле учебник этого международного вспомогательного языка.

В магазине В. К. Сохарева сходились со всего города книголюбы и заводили свободные беседы, жаркие споры по разнообразным вопросам жизни, науки, литературы и искусства. Разумеется, я бывал завсегдаем магазина, заядлым участником всех этих словопрений, и они в сильной степени расширяли мой кругозор. Я всегда с благодарностью вспоминаю книжный магазин В. К. Сохарева, как одну из благодетельных школ, встретившихся на моем жизненном пути...

Мужская классическая гимназия, реальное училище имени Николая Второго, Мариинская женская гимназия, две частные женские гимназии — Будкевич и Красулиной, два городских училища, высшее женское, начальное, коммерческое и духовное училища — вот все те учебные заведения, в которых получала образование барнаульская молодежь привилегированных и состоятельных сословий.

Выдающихся педагогов дореволюционный Барнаул дал не много. Первым из них надо назвать историка реального училища Леонида

Ивановича Шумиловского. Помимо преподавания, он занимался публицистикой, писал отличные статьи, выступал с лекциями, участвовал в литературных судах и диспутах, популярных в то время. В разгар гражданской войны он дошел до того, что стал сотрудничать с Колчаком, вошел в его «правительство» с портфелем министра труда и, конечно, бесславно кончил.

Другой педагог реального училища, естествовед Виктор Иванович Верещагин, долго изучал флору Алтая, опубликовал немало трудов о результатах своих исследований.

Бывший политический ссыльный, учитель русского языка и литературы Иван Леонтьевич Симанин, издавший несколько своих учебников, тоже личность самобытная. В конце многолетнего изучения русской грамматики он пришел к решительному отрицанию этой науки. На улицах Барнаула появилась широковетчатая афиша о том, что Иван Леонтьевич Симанин прочтет в Народном доме лекцию на тему «Грамотность без грамматики».

Если во времена оны поэт Тредьяковский требовал «писать по звонам», то Иван Леонтьевич Симанин провозглашал: говорите и пишете так, как печатают в книгах!

На злополучную лекцию И. Л. Симанина яростно напали местные газеты. Особенно беспощадно громил ее Акиндин Шапошников, редактор «Жизни Алтая», бывший учитель русского языка и литературы.

Став посмешищем во всем городе, Иван Леонтьевич потихоньку исчез с арены общественной жизни. А был он умен, пытлив, но как-то сшибся с правильного пути в своих исканиях и пошел колесить. Поправить же его вовремя никто не мог. И дельный, полезный человек пропал втуне...

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

Барнаульцы любят театр. Эта традиция давняя. Старый Барнаул тоже не обижал Мельпомену. В нем действовали театры: профессиональный (летний и зимний) Народного дома, Общественного собрания и Управления Алтайского округа.

Первый был общедоступный, второй — преимущественно купеческий, третий — чиновничий. В Народном доме играла сильная труппа антрепренера и артиста Батманова. В Общественном собрании подвизался с самодеятельным кружком бывший артист, затем любитель С. И. Новоселов, который готовил прекрасные спектакли, не уступавшие по мастерству постановкам в Народном доме.

А вот на летней сцене Общественного собрания (на углу Томской

в Соборного переулка) «артисты»-проходимцы нередко угощали жадных до «клубнички» купцов, купчих да отставных военных порнографическими фарсами. Выступали здесь и лилипутские труппы.

В театре Управления Алтайского округа играли высшие чиновники-аристократы. Здесь изредка устраивали и детские спектакли. Ставили даже детские оперы, в которых начали свою карьеру замечательные певцы Шура Ракина и Роза Альперт. Вторая из них затем училась в Петербургской консерватории и стала оперной артисткой.

В театре Общественного собрания выдвинулся из рабочей среды лирический тенор Власов. На средства, собранные меценатами, он учился в Московской консерватории. Приезжая на каникулы, Власов давал концерты, сбор с которых поступал в его пользу. Дальнейшая судьба его мне неизвестна...

Театр — школа всестороннего просвещения и художественного воспитания общества. Эту сложную, благородную и почетную миссию превосходно выполняла многолюдная труппа Батманова. В ней были первоклассные артисты: героиня Маргер-Мирецкая, герой-любовник Сергеев, трагик Вартминский, комик Картанов, инженер-комик Перовская, простак Белостоцкий, неврастеник Волин, резонеры Самарин, Лельский и многие другие... Этой труппе были под силу все виды драматических произведений. Она ставила и оперетты. Богатейший репертуар ее составляли преимущественно пьесы высокоидейные, разнообразные по форме, захватывающие по содержанию.

Лишь очень редко, как уступка дурным вкусам, проскальзывали на сцену Народного дома пьесы, чуждые общему духу труппы, — либо модные, как «Ревность» Арцыбашева, либо нарядные, как «Каширская старина» Аверкиева.

Все ведущие артисты этого театра и рецензенты бывали частыми гостями у Леонида Петровича Ешина. Я всегда внимательно слушал их разговоры и споры о пьесах, различные толкования их образов и смысла, исполнения ролей, образовательного и воспитательного значения спектаклей для народа. Артисты вспоминали исполнение ролей классиками сценического мастерства и тут же иллюстрировали свои суждения. Подробно, умно и тонко говорили о всех компонентах, создающих успех спектакля. От разборов поставленных в театре пьес переходили к общей оценке всего творчества того или иного писателя.

Нужно ли говорить о том, какую важную роль сыграли все эти беседы, споры, толкования в моем общем интеллектуальном развитии? Барнаульская квартира Ешиных явилась для меня высшим курсом литературно-театрального университета.

Вам понятен будет тот и горестный, и сладостный трепет, с каким я 20 июля 1964 года вновь увидел домик № 145 на Никитинской улице

через 52 года после первого дня моей жизни в нем! Долго и грустно смотрел я на этот дом. В моем воображении прошла длинная череда незабвенных образов, подаривших мне бесценные культурные сокровища и давно канувших в Лету...

Спектакли в Барнаульском Народном доме шли неизменно с полным сбором. Я не могу припомнить дня, когда бы зрительный зал театра не был переполнен. Так любили барнаульцы сценическое искусство!

В августе 1913 года в Барнаул приехала всемирно известная хорвая капелла русской и славянской песни Маргариты Дмитриевны Агреновой-Славянской. Концерты капеллы вызвали фурор. Пребыванием ее в городе ловко воспользовался Батманов: он поставил спектакль по исторической пьесе П. П. Сухонина «Русская свадьба», в которой, между прочим, изображается обряд боярской свадьбы. Все акты пышного произведения Сухонина были перевиты русскими народными песнями. В эпизодах с участием жениха пели тенора и басы капеллы; в сценах у невесты — сопрано и альты. Более волшебного пения нельзя и представить! Что ни номер, то диво из див!

Роль невесты исполняла сама Маргарита Дмитриевна. В жизни статная, круглолицая, румяная, она была идеальной боярышней на сцене, точно вот-вот сошла с картины Маковского. А когда по ходу действия Маргарита Дмитриевна спела проникновеннейшую гурилевскую:

Матушка, голубушка,
Солнышко мое!
Пожалей, родимая,
Дитяtko свое!

— то неистовство в зале прервало действие на несколько минут.

Спектакль «Русская свадьба» на сцене Народного дома был воистину незабываемым событием.

Истинно русское хоровое искусство прославленной капеллы пожелало послушать все население Барнаула. Отправили делегацию к Маргарите Дмитриевне. Она любезно уважила просьбу.

Но ни один зал города не мог бы вместить многотысячную массу. Выход из трудного положения нашли. На Московском (ныне Ленинский) проспекте, повыше пассажа Смирнова, соорудили высокую эстраду, на которой и выступила капелла.

Все окружающее эстраду пространство, крыши, балконы и ограды близлежащих домов заполнили слушатели. Капелла, воодушевленная невиданной аудиторией, пела много, до полного изнурения.

Концерт был настоящим народным торжеством, какого еще не знала до того история города Барнаула!..

С шумным успехом батмановцы ставили и пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Песню «Быстры, как волны, все дни нашей жизни» горланили в Барнауле повсюду. Но спектакль крепко запомнился зрителям еще и потому, что с ним связывалась одна скандальная история.

Блестящее исполнение роли студента Николая Глуховцева артистом Волиным принесло ему и лавры, и беду. Среди экспансивных поклонниц талантливого артиста оказалась и гимназистка, дочь купца-толстосума Федулова. Она навещала Волина в гостинице. Об этом донесли палаше, который и начал «дело» о растлении девицы. Дело стало в городе притчей во языцах. Волина исключили из труппы за моральное разложение, и он очутился безработным. А через некоторое время, заклеянный позором, оставил Барнаул.

Третьей незабываемой постановкой труппы Батманова была трагедия «Эдип-царь» Софокла. Желая возможно ярче и полнее воссоздать стиль и дух древнеэллинического театра, Батманов осуществил эту постановку в городском цирке. Она получилась величественной.

Случилось так, что по окончании театрального сезона в 1913 году артисты труппы Батманова разъехались во все концы страны для заключения новых контрактов. Только комик Картанов все до копейки пропил, и ему с женой, инженеру Перовской, не на что было выбраться из Барнаула. Дело их — труба! Пришли супруги-горемыки к Леониду Петровичу Ешину за советом. И решили поставить «Дядю Ваню» Чехова. Объявили: сбор в пользу любимца публики Картанова.

Дядю Ваню взялся играть сам Картанов, роль профессора Серебрякова поручили Леониду Петровичу, Перовскую, как она ни отбрыкивалась, вынудили изображать Соню. Прочие роли распределили по любителям.

Начались репетиции. Перовская, всегда игравшая наивных, игривых или лукавых девушек, маялась над тяжелой, не подходящей для нее лирико-драматической ролью Сони. Она умоляла мужа заменить ее. Но кем?! Муж был непреклонен: нужны деньги до зарезу!

Готовили пьесу долго. На каждую репетицию Перовская отправлялась, как на костер.

Настал спектакль. С каждым новым актом впечатление от него росло и росло... Идет последняя сцена. Соня плачет «правдишными» слезами. Зал замер... Послышались подавленные всхлипывания и сморкания в платок...

Упал занавес. И через минуту молчания грянули аплодисменты, какие редко слышались в театре Народного дома. Кричали:

— Перовскую! Перовскую!

После актриса говорила:

— Я плакала по-настоящему. Думала: наконец-то отмучилась! Чуждая мне роль истерзала меня, вымотала все нервы!

Да, так было. Перовская плакала неподдельно, и это потрясло зрителей, которые не знали истинной причины слез актрисы, но видели и чувствовали их «правду».

Много лет спустя я смотрел «Дядю Ваню» в театрах Новосибирска, Свердловска, Одессы и других крупных городов. Видел эту пьесу и в МХАТе. Но Сони, подобной Соне-Перовской, нигде не встречал!

Видно, никакие ультраакадемические, искусственные приемы игры, пусть даже по системе Станиславского, не заменят правды жизни. Я смотрел многие спектакли МХАТа. В них каждая деталь характерна, все предельно отшлифовано, все математически рассчитано. Но при всем том ясно чувствовалась точная, холодноватая, машинная работа. Думаю, это оттого, что и гениальный артист не может искренне переживать те или иные чувства, играя роль 300, 400, 500 и более раз! «Механизация» роли при этом условии неизбежна.

Вероятно, это мое рассуждение — грубая ересь невежды, но я не нашел еще основания для отказа от нее...

Подлинным набатом, призывавшим к революции, прозвучала пьеса «На дне» А. М. Горького. По просьбе зрителей ее повторяли несколько раз. Во время спектаклей в Народном доме дежурили усиленные наряды полиции. А песня «Солнце всходит и заходит» приобрела в Барнауле широчайшую известность...

ЦИРК И «ВЕЛИКИЙ НЕМОЙ»

Недалеко от нынешнего дома редакции «Алтайской правды», возле болотистого пустыря, работал цирк. Хотя все программы его не отличались чем-либо остро-оригинальным, в нем никогда не хватало мест. Особенно трудно было протиснуться туда в те вечера, когда выступали борцы. А их наезжало в Барнаул чертова прорва! И русских, и иноземных, и мужчин, и женщин. Все улицы города облеплялись афишами, с которых глядели тучные, мускулистые полуголые красавцы-богатыри с неумными лицами.

Кроме борцов, публику забавляли дрессировщики собак, кошек, свиней, да игра музыкальных эксцентриков на бутылках, смычками на поперечной пиле или на палке с одной струной. Наездницы с прыжками на спинах лошадей и с визгливыми вскриками «опля!», клоуны с плоскими остротами надоедали. Какое-то болезненное неистовство охватывало барнаульцев, когда приезжали на гастроли артисты цирка Коромыс-



БЕЧА.



ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ло
Д
ко
ль
ль
ль
ть
он
че
че
пр
ку
со
ря
ро
пр
зр
и
нь
мо
ра
ав
ло
се
зо
де
ли
в
се
то
Д.
ро
ш
М
5

лова. Любители грубых, но сильных и острых ощущений тогда ликовали! А мне их восторги казались непонятными и смешными.

Полеты артистов под куполом цирка, мучительное сгибание девочкой своего тела в каральку, вкладывание головы укротителя в пасть льву и прочие номера заставляли меня дрожать от страха за несчастных людей. Какое уж тут эстетическое наслаждение!

Но самое отвратительное зрелище — это борьба женщин. Мясистые, толстозадые, покрасневшиеся от напряжения и потные, возлились они на арене, и парной дух от них разливался по всему цирку!

Если театр воскрешал предо мною живую историю всего человечества, если библиотечные книги сообщали мне крупинки энциклопедических знаний, то дореволюционный цирк не научил меня ничему, что пригодилось бы в моей просветительской работе.

Другое дело — кино.

Первый кинотеатр под названием «Иллюзион» открыла в Барнауле купчиха Лебзина. Стоял он на самом бойком месте города — около собора, на Пушкинской улице. Несколько позже на той же улице, почти рядом с ним, на том месте, где теперь стоит клуб УВД, построили второй кинотеатр — «Новый мир». Кто был его владельцем, не знаю.

В «Иллюзионе» помещение и обстановка были крайне бедными, примитивными. «Новый мир» привлекал публику и довольно хорошим зрительным залом, и просторным фойе, и буфетом, и столом с газетами и журналами.

Хотя старая кинотехника не может идти ни в какое сравнение с нынешней, тем не менее, в «Иллюзионе» и «Новом мире» картины демонстрировались очень хорошо. Толково составленные надписи к кадрам делали содержание картин понятным для всех зрителей. Тогдашние авторы киносценариев строили сюжеты фильмов без всяких ребусов и с логичными концами. Уходя из кинотеатра, зрители четко представляли себе все сцены даже в таких сложных картинах, как «Братья Карамазовы», «Идиот», «Крейцерова соната», «Дворянское гнездо», «Камо грядеши?», «Дети Ванюшина»...

И в «Иллюзионе», и в «Новом мире» все киносеансы сопровождались скрипкой и фортепиано. Лучшими музыкальными иллюстраторами в городе считались пианист Марцинковский и скрипач Свинкин. К веселым картинам и сценам они подбирали музыку из разных композиторов, а к драматическим играли почти неизменно слащавый романс Д. Поппера «В лучшие дни». Благодаря киносеансам, мелодию этого романса я и сейчас могу спеть наизусть.

Когда писались эти строки, в областном городе Николаеве совершала триумфальное шествие по кинотеатрам картина «В компании Макса Линдера». Это — окрошка из тех фильмов, в которых играл

прославленный комик. Я смотрел ее и ужасался. Правдив, идейно глубокий был в своих комедиях этот гигант экрана начала 20-го века. Теперь же он предстал перед нами только виртуозом-трюкачом. Плохую же услугу оказали памяти знаменитого артиста его поемки и поклонники на Западе, состряпав для кино такой коктейль, как «В компании Макса Линдера»!..

В Барнауле я впервые узнал, что такое «великий немой». Я посещал кино так же усердно, как театр Народного дома, концерты и городскую библиотеку...

ОПЕРЫ ИЛИ ОБЕДНИ!

Симфоническим оркестром Общественного собрания, плохоньким, малым по составу, пополнявшимся в особо торжественных случаях музыкантами-любителями, дирижировал скрипач Абрам Исаевич Клястер (я у него продолжал занятия на скрипке), человек вулканического темперамента. Во время концертов оркестра он так энергично и широко размахивал руками, что наутро нес сюртук к портному — пришивать наполювину оторванные подмышками рукава.

Страдал он и страшной рассеянностью, которая осрамила его на большом концерте, посвященном 300-летию дома Романовых.

Нарядился Абрам Исаевич во фрак. Взошел на дирижерскую подставку, забыв застегнуть пуговицы на брюках. Кто-то из музыкантов жестом показал ему на оплошность. Поняв знак, Абрам Исаевич мгновенно отвернулся от оркестрантов и стал застегиваться на глазах у зрителей!..

В городе существовала единственная частная музыкальная школа А. И. Смирновой, где преподавали лишь игру на фортепиано. Ни разу эта школа не стигивалась перед общественностью. По крайней мере, при мне.

Но зато в Барнауле славился музыкальный кружок высококультурного работника Управления Алтайского округа Ави́ва Гавриловича Басарева, виртуозно игравшего на скрипке, купленной у проезжего и проигравшегося в карты офицера за 3000 рублей золотом. У этой скрипки был изумительно теплый, золотистый тон.

При постройке своего дома Ави́ва Гаврилович предусмотрел небольшой зал с эстрадой, на которой струнно-смычковый квартет играл классические произведения. Все барнаульские ценители и любители серьезной музыки посещали домик А. Г. Басарева. Бывал там и я.

Но превосходный басаревский квартет почему-то никогда не выступал ни в Народном доме, ни в Общественном собрании. Впрочем, его

участники, по горячей просьбе А. И. Клястера, изредка вливались в симфонический оркестр Общественного собрания.

Музыкальное просвещение и воспитание барнаульцев происходило преимущественно в одиннадцати церквях города. В каждой из них пел большой хор. Между хорами бывали даже своеобразные состязания. Регенты переманивали к себе лучших певцов из других хоров, платя им повышенные оклады.

Все православные города ходили молиться в свои излюбленные церкви. Самые богатые купцы — в собор, купцы с сумой потоньше — в Богородскую, служилая верхушка и чиновничья знать Управления Алтайского округа — в Дмитриевскую, которая числилась как бы «придворной» церковью этого Управления. Рабочие, мещане и всякая иная беднота распределялись по окраинным церквям — Покровской, Знаменской, Кладбищенской.

При духовном училище была своя церковь.

Рекреационные залы Мариинской женской гимназии и второго городского училища в праздники превращались в церкви. Части залов занимали алтари. В будни эти алтари отделялись от залов специальными подвижными перегородками.

Управление Алтайского округа не жалело денег на содержание хора Дмитриевской церкви, и потому он первенствовал в городе. Им руководил пианист, католик Антоний Иванович Марцинковский, премьер-музыкант Барнаула. Он набирал хористов где угодно и платил им много. В его хоре в каникулярное время пели артисты Власов, Роза Альперт и студентки консерваторий.

В Дмитриевской церкви все внушало сильное впечатление. Здание огромное, круглое, роскошно украшенное. Священник Иоанн Горетовский с серебряной, как нимб, шевелюрой; голос кричающий, точно выстрелы коростеля. Дьякон — существо страшилище с пугающим басом. Когда он читал ектению или евангелие, то казалось, что под полом церкви катались огромные шары!

Горетовский не запрещал хору петь любые сложные произведения. Пользуясь этим либерализмом, А. И. Марцинковский часто ставил целые литургии одного и того же композитора, например, Ипполитова-Иванова, Рахманинова и др. И тогда обедня была не обедня, а настоящая опера, которую ходили слушать совсем не религиозные люди. Где же они иначе могли послушать большую хоровую музыку? Ведь светских хоров в городе не было и в помине! Если общественные организации устраивали светские концерты в пользу раненых воинов (1914, 1915 годы), то и солисты, и ансамбли брались из тех же церковных хоров. Пели в концертах и сводные церковные хоры.

В качестве солистов выступали: лирический тенор, преподаватель

духовного училища Владимир Васильевич Титов, бас соборного хора Сергей Сухов и псаломщик собора, баритон Николай Добросердов, впоследствии артист Новосибирской оперы; сопрано сестры Анна и Мария Кузнецовы и тенор Александр Казанцев — из хора Богородской церкви.

Соединенный хор всех церквей участвовал и в таких драматических спектаклях, в которых были сцены с пением большого коллектива, например в «Каширской старине» Аверкиева.

ГАСТРОЛЕРЫ

Кроме хора Маргариты Дмитриевны Агреневой-Славянской, в Барнауле гастролировали знаменитые артисты Роберт и Рафаил Адельгеймы, игравшие фрагменты из трагедий Шекспира, Шиллера и Гуцкова. Их выступления проходили на «привилегированной» сцене Общественного собрания. Видимо, они полагали ниже своего достоинства играть на общедоступной сцене Народного дома.

В начале июня 1913 года в том же Общественном собрании концертировал лауреат Лейпцигской консерватории, виолончелист Богумил Сикора при участии скрипача, профессора Якова Соломоновича Медлина и пианистки Тютрюмовой. Эти превосходные музыканты познакомили барнаульцев с классическими произведениями для виолончели, скрипки и фортепиано: Бетховена, Шопена, Изан, Казальса, Брамса, Паганини, Чайковского, Листа...

Какие-то ветры загнали в Барнаул и итальянского баритона Рески, уже сильно облысевшего и вышедшего «в тираж» на родине, но еще сохранившего довольно сильный и красивый голос.

Всю программу он пел на своем родном языке, а для «шику» исполнил алябьевского «Соловья» на русском, чем весьма насмешил публику, выговаривая слова так:

Жоловэй мой, жоловэй,
Голожижтий жоловэй...

Посетила Барнаул и тогдашняя драматическая актриса и кинозвезда Рощина-Инсарова.

Большим событием в музыкальной жизни Барнаула были гастроли передвижной оперы. Ее спектакли шли в Народном доме под фортепиано и с небольшим хором. Но солисты пели превосходно. Барнаульцы прослушали «золотую серию» опер: «Ивана Сусанина» (прежде она на-

ывалась «Жизнь за царя»), «Русалку», «Евгения Онегина», «Фауста», «Демона», «Пиковую даму» и «Риголетто».

Заезжали в Барнаул прогрессивные по тем временам центральные деятели культуры: друг Л. Н. Толстого В. Поссе, критик и литературовед Львов-Рогачевский, публицист С. Яблоновский, профессор Томского политехнического института Некрасов и др.

С живейшим интересом публика слушала глубокие, образные и эмоциональные лекции В. Поссе о браке, семье, школе, о жизни всех общественных классов Западной Европы и России, о вырождении капиталистической культуры, об идеях социализма, проникавших в науку, художественную литературу и во все изобразительные искусства.

Чтения В. Поссе раздвигали перед слушателями широчайшие горизонты жизни, затрагивали самые острые и болезненные проблемы, настойчиво подсказывали «опасные» мысли, хотя лектор ни разу не произнес слово «революция».

Львов-Рогачевский знакомил барнаульцев со всеми литературными течениями начала XX века как в России, так и за рубежом. На множестве примеров из поэтических произведений он разъяснил, что такое декадентство, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, ничевокизм и прочие «измы». Он правильно рассматривал эти течения как уродливые проявления разлагающегося капитализма, как знак отхода творцов искусства от реальной жизни в бездны субъективизма, бредовых фантазий, галлюцинаций и сновидений...

Другой характер носил приезд профессора Некрасова. Он выступал в Барнауле перед выборами в четвертую Государственную думу — осенью 1912 года. Это его выступление имело явной целью искусно завуалированное восхваление либеральной буржуазии и ее политических партий. Сам Некрасов попал в члены последней Государственной думы. Во временном правительстве перед Октябрьской революцией он был министром путей сообщения...

Очарованный концертами виолончелиста Богумила Сикоры, скрипача Я. С. Медлина и пианистки Тютрюмовой, я отважился пробраться в гостиницу, где остановились эти музыканты. Мне нужен был профессор Медлин, у которого я хотел взять несколько уроков игры на скрипке.

Высокий, грузный, с буйной гривой черных волос (мода!), маэстро любезно выслушал мою просьбу и сказал:

— Я в Томске буду весь июнь, а в начале июля уеду в Петербург с отчетом. Если хотите, приезжайте ко мне в июне. Я займусь с вами...

И я с радостью покотил в «сибирские Афины». Чтобы почти полные сутки отдать игре на скрипке, снял заброшенную на пустыре усадьбы хатушку. Вот, думал, где я поиграю вволю, никому не мешая!

Лег ночевать. Но через пять минут почувствовал огонь во всем теле.

Зажег свет. О, ужас! Все стены, потолок и моя постель — в клопах! Видимо, в хатушке давно не было жильцов, и кровопийцы, чертовски проголодавшись, яростно набросились на меня. Дождавшись утра, я покинул клоповник. Поселился в скромном номерке гостиницы «Золотой якорь», как раз против музыкальной школы Тютрюмовой, где преподавал и занимал квартиру профессор Я. С. Медлин.

Пришел я к нему на первый урок. В передней снял фуражку. Направо — дверь в гостиную. Вижу в щелку: сидят в креслах друг против друга хозяин и Богумил Сикора. Курят гавайские сигары и громко беседуют.

— Изумляюсь, просто изумляюсь! — воскликнул профессор. — Как это можно на таком громоздком инструменте, как виолончель, делать головокружительные пассажи, да еще аккордами, да еще в бешеном темпе!

На ломаном русском языке знаменитый виолончелист ответил:

— Я много, очень много занимался. По пятнадцать часов в сутки! Если какой-либо пассаж не давался мне, я мог играть его тысячу раз, чтобы добиться нужной выразительности...

Затаив дыхание, я долго стоял за дверью, слушая интереснейший разговор больших артистов. Не желая прерывать их беседу, я тихонько ушел обратно.

Урок мой состоялся на следующий день. Прослушав гаммы, Яков Соломонович, улыбаясь, заметил:

— Ваши педагоги, молодой человек, правильно поставили вам левую руку, а правую кисть одеревенели. Надо ее расплавить. Смотрите... Держите смычок вот так, как бы шутя, не впивайтесь пальцами в трость.

И он, взяв скрипку и смычок, показал, как надо расплавлять кисть и не впиваться пальцами в трость. Я начал водить смычком по струнам, подражая профессору. И «чудо» совершилось: рука сразу почувствовала свободу, а звук стал мягче и полнее. Сами слова «одеревенели» и «расплавить» точно определили неправильную и правильную психофизиологию держания и ведения смычка. Как важно, оказывается, педагогу вовремя подобрать образное слово, чтобы легче объяснить ученику способ избавления от ошибки!..

Только с неделю удалось мне позаниматься у Якова Соломоновича: его телеграммой срочно вызвали в Петербург. Уезжая, он передал меня своему лучшему студенту старшего курса — Томилину, который муштровал меня месяца полтора, не взяв за это ни копейки. Этому благороднейшему человеку я обязан многими знаниями из музыкальной грамоты. Лет через 35 я узнал, что он тоже поднялся до звания профессора...

«ЖИВОЙ» КОМПОЗИТОР

До приезда в Барнаул я никогда не видел живого композитора. А тут мне сказали, что в Мариинской женской гимназии преподает пение композитор Семен Васильевич Шаронов.

Узнав его адрес, я в праздничный день без всяких церемоний явился к нему.

— Хочу познакомиться с живым композитором... Топоров Адриан Митрофанович, учитель и неискоренимый любитель музыки, пения и музыкантов! Прошу любить и жаловать!

— Очень рад, очень рад!

Мою руку жал в своей стройный блондин с большими серыми открытыми глазами. Все его широкое русское лицо расплылось в приветливую улыбку. С ним так складно сочетались и тонкие усики с завитками на кончиках, и прямые, как свежая ржаная солома, волосы, закрывавшие уши.

Несмотря на раннее утро, Семен Васильевич уже надел костюм, галстук, манжеты и гуттаперчевый воротничок.

На столе шипел самоварчик, лежал завтрак: булки, колбасы, сыр, яйца, балычок. В трех вазах — сахар, варенье, конфеты.

На вид Семену Васильевичу можно было дать лет сорок, а он все еще оставался холостяком. На этажерках, полках, столиках и фисгармонии возвышались кучи книг, рукописных нот и новых музыкальных журналов. Со стен глядели портреты композиторов — Глинки, Чайковского, Даргомыжского, Бетховена, Вагнера, Шопена; скрипачей — Иоахима, Кубелика, Губермана, Ауэра; виолончелиста Вержбиловича, писателей, поэтов... На столе, налево от самовара, лежала раскрытая толстенная книжища «Биографии композиторов всего мира». Ее, должно быть, читал хозяин на странице с портретом Палестрины.

Семен Васильевич с простодушной фамильярностью пригласил меня к завтраку:

— А давайте-ка сперва поедим по русскому обычаю!.. Прошу!..

Он усадил меня за стол и давай потчевать то той, то другой снедью. В нем еще не выветрился патриархальный русский хлебосол.

Уйдя из деревни, он работал в Бийске столяром и одновременно пел басом в церковном хоре. Музыку любил с детства. Самоучкой постиг теорию этого искусства. Намереваясь стать композитором, ездил на специальные курсы в Петербург, Москву и Пермь. Словом, прошел трудный, но плодотворный путь русских самородков.

Моя первая встреча с Семеном Васильевичем длилась семь часов. Мы пели дуэты, играли — он на фисгармонии, а я на скрипке.

С. В. Шаронов написал ворох композиций, но ему не везло с изда-

нием их. Русским воинам, погибшим в первую империалистическую войну, он посвятил величественный «Реквием».

Это произведение напечатало нотное издательство Юргенсона в Москве, прислало уже автору корректуру, но в буре начавшейся революции оно где-то затерялось бесследно.

В советское время Семен Васильевич вместе со мною вошел в ряды активных сотрудников барнаульской газеты «Красный Алтай». Он отличался ненасытной алчностью на всяческие знания. Беллетристику, книги по многим разделам науки и искусства он «глотал» и разбирал по точкам.

Женился Семен Васильевич поздно, но судьба послала ему спутницу, как нельзя лучше подходящую к его натуре. Ирина Ивановна тоже музыкант, человек добрейшего сердца и благородных устремлений.

Нерасторжимая дружба моя с С. В. Шароновым продолжалась до самой его смерти, а с Ириной Ивановной я переписываюсь и поныне...

Другой сибиряк, оказавший мне помощь в музыкальном образовании, был учитель пения в нескольких учебных заведениях Барнаула — Алексей Александрович Филимонов. Пройдя хормейстерский курс у самого Римского-Корсакова, он в Барнауле занимал «доходные» места. Этому способствовали и высокая петербургская марка, и его «галантерейное» обхождение с бомондом.

Приземистый, толстенный, подвижный, с круглой, лысой и сверкающей, точно полированный шар, головой, он в общественных местах блистал утонченными манерами, резинисто изгибался, осклаблялся, расшаркивался перед дамами, целуя им ручки. В городе его знали все. А за необыкновенную подвижность дали ему прозвище «Колобок».

Я пел у него в светском хоре 2-го городского училища. Общительный, веселый, неумно словоохотливый, он рассказывал бесконечные анекдоты, были и, вероятно, небылицы о жизни высшего света Северной Пальмиры. И больше всего — о музыкантах.

В барнаульских кружках меломанов Алексей Александрович много пел, удивляя присутствующих умением неимоверно долго держать высокие фальцетные ноты при зажмуренных глазах...

А. А. Филимонов красиво дирижировал хором, с тонким художественным вкусом толковал нюансировку исполняемых пьес. Он не записывал свои композиции на бумаге, а в компании друзей всегда импровизировал. Ему подносили, допустим, стихотворение Жуковского:

Минувших дней очарованье,
Зачем опять воскресло ты?
Кто разбудил воспоминанье
И замолчавшие мечты?..

— и он сразу же придумывал и задушевно пел прелестную мелодию, аккомпанируя себе на гитаре или на пианино.

Как жалко, что этот тонкий музыкант так рано погиб от тифа!..

ИЗГНАНИЕ РАХМАНИНОВА

Барнаульской соборной церковноприходской школой заведовал мозглявенький протоподист Завадовский, махровый реакционер и гроза всех городских попов, дьяконов, дьячков и учителей синодского ведомства. А силу большую он забрал потому, что состоял в фаворитах Томского архиепископа Макария, пользовавшегося благосклонностью самого венценосца.

Анемподист требовал от меня, уже законченного атеиста, обязательного посещения церкви, говения и причащения, а я уклонялся от всего этого. Требовал он и обучения школьников пению молитв. Закончив свой урок, протоподист зазывал меня в учительскую и принимался терзать:

— Почему вы не учите детей петь молитвы? А сами-то вы умеете их петь?

— Не умею, отец протоиерей.

— Ну, я вас поучу... Пойте за мной...

И он, совершенно лишенный музыкального слуха, гугнил нестерпимо фальшиво:

— Бо-го-ро-ди-це де-во, ра-дуй-ся, бла-го-дат-на-я Ма-ри-я, господь с то-бо-ю...

Вцепившись пальцами в мою пуговицу, он понукал меня:

— Ну, ну! За мной, за мной!

Я «тянул» за ним, намеренно усиливая какофонию. Слушавшие нас две учительницы давились от смеха: они знали, что я слегка смыслю в музыке.

Вот так и детей учите! — заканчивал Анемподист инквизицию.

Но я не учил. Поняв мое «злонамерение», протоподист стал коситься на меня.

Как крайне заскоруждый тупица, он не терпел новых песнопений в богослужении. Регент соборного хора Даниил Киприанович Головкин три месяца готовил литургию — музыку С. В. Рахманинова к храмовому празднику Петра и Павла. Правда, эта литургия ничуть не походила на обычные церковные напевы, а представляла собою обширную светскую концертную программу.

Анемподист, служивший праздничную литургию, вытерпел лишь несколько номеров этой программы, а затем, прервав обедню, вышел на амвон и завизжал хору:

— Прекратите это бесчинство! Пойте как следует!

Регент, жалея потраченные труды хористов, попытался было продолжать программу. Рассвирепевший протопопик снова выскочил из алтаря и, как пересеченный, завопил:

— Я вам что сказал?! Замолчите! Разойдитесь! А то сейчас же позову полицию!..

И хористы разошлись. Так великий композитор С. В. Рахманинов был изгнан из барнаульского собора!..

ЗНАКОМСТВО С РЕВОЛЮЦИОНЕРОМ

В очередное воскресенье мы с Семеном Васильевичем Шароновым играли «Колыбельную» Годара. В комнату тихо, на цыпочках, крадучись, вошел среднего роста чернявый молодой человек с зачесанными на правый бок густыми волосами, с чуть пробившимися усиками и маленькими острыми глазами. На лице его плавала ироническая улыбка.

— А, Костюша! Здорово! Здорово! — прервал музыку Семен Васильевич.

Обратившись ко мне и вшедшему, он шутливо представил нас друг другу:

— Это мой друг Костюша Еремеевич Багаев, жрец Эскулапа, а это — беспардонный, как и я же, любитель музыки, учитель Адриан Митрофанович Топоров. А посему оставим пока скрипку и фисгармонию и поедим во славу божию...

Я жил в большой семье, и встречи с друзьями у меня были неудобны. Мы встречались у Семена Васильевича. Музицировали, говорили и спорили о многом. И я еще тогда заметил, что Костюша сводил наши разговоры на темы политические, ругая черносотенных «зубров» — Пуришкевича, Маркова 2-го, Победоносцева и их поддужных.

В то время «властителем моих дум» был Н. К. Михайловский, и больше всего его трактат «Герои и толпа». На мои восторги об этом произведении Костя с ухмылкой возражал:

— А ведь никакой разгениальный полководец без армии ничего не сделает. Да и сам-то он кем выдвигается? Армией! Он потому и ведет армию, что выражает ее волю... Приходите-ка ко мне, я вам обоим дам серьезную книжицу, которая написана в пику Н. К. Михайловскому. Любопытная книжица! Заинтересуетесь!

Костюша жил с семьей на 2-й Алтайской улице. Его утлый домишко походил на двухэтажную скворешню. Казалось, дунь на него сильный ветер — и рассыплется в прах.

Мы с С. В. Шароновым поднялись по «певучей» лесенке на второй

этаж Костиной «скворешни». Угостив нас чаем со сдобными шаньгами, Костя вынул из сундука затрепанную книжку и подал мне:

— На, и дома поглубже вникни!

Это было «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» Г. В. Плеханова.

— Тут ты поймешь, что не воля героев двигает историю, а производство, экономика, борьба классов...

Наш новый друг затягивал меня и Сеню в Народный дом на спектакли с революционной идеологией: «На дне» Горького, «Ткачи» Гаупмана, «Уриель Акоста» Гуцкова, «Горькая судьбина» Писемского...

Бывало, проходя по улицам Барнаула мимо громадных пассажей и особняков Смирнова, Морозова, Сухова и Полякова, Костя злобно рычал:

— Смотрите, сколько ареды нахапали! Все это — пот и кровь народные!.. У Сухова шестнадцать домов в городе! Три пуда золотых и серебряных тарелок, вилок, ложек, ножей. Восемнадцать серебряных самоваров разной величины! Да, да! Горничные знают!..

Раз я встретился с Костей на Бийской улице. Он возвращался домой из городской библиотеки, таща кипу книг. Разговорились.

— Ты что теперь читаешь? — спросил меня друг.

— Разное: беллетристику, философию, педагогику...

— А вот это читал?

Он подал мне книгу А. Бебеля «Женщина и социализм».

— Вероятно, трудная?

— Что ты?! Тут, брат, и младенец все поймет! На-ка, почитай. Потом вернешь мне. Я хотел второй раз проштудировать ее. На шестидесяти языках весь свет эту книгу читает. Из нее поймешь самое главное в жизни!

Дома я с упоением погрузился в книгу А. Бебеля и сообразил, почему Костя настаивал на ее прочтении. Рассказывая просто и неотразимо убедительно о положении женщины во все времена и у всех народов, А. Бебель попутно рисует страшную картину вековечного угнетения всего трудящегося люда на земле и подводит читателя к твердому убеждению о неизбежности мировой социалистической революции для уничтожения гнета, насилия, унижения и эксплуатации человека человеком.

Продумав книгу А. Бебеля, я, ничего еще не зная о Марксе, Энгельсе, Ленине, подверг сомнению свою «веру» в Н. К. Михайловского и дал сильный крен в сторону стихийного марксизма.

В последующих беседах Костя, хитрово улыбаясь, заводил речь о книге А. Бебеля и не скрывал своей радости по поводу того, что я и Сеня тоже восхищаемся творением вождя немецкой социал-демократии.

Костя Багаев всегда притворялся беспечным, веселым парнем-рубашкой. За этой маской он прятал свои умыслы революционизировать взгляды друзей. Говоря по-нынешнему, он «распропагандировал» и Сеню Шаронова, и меня.

Иногда зимними вечерами он сговаривал нас «пошаркать» по Пушкинской (тогда главной) улице, в центре которой находился особняк богача И. К. Платонова. В доме были огромные окна из богемского стекла. В просторной комнате, окна которой выходили на Пушкинскую, росли лимонные деревья. У одного окна под ними стояло широченное, обитое кожей кресло, а в нем под вечер, после обильного чревоугодия, дремал хозяин, отвесив мясистую нижнюю губу. Его туша казалась бесформенной кучей. Занавески у окна не было, и все гуляющие видели это чудище.

Костя намеренно часто проводил меня и Сеню мимо особняка Платонова, вызывая в нас «ярость благородную».

— Глядите, глядите, какой гигантский тарантул сидит в кресле! Видать, попил, гад, рабочей кровушки!.. А живет один... с кухаркой. Дерет со всего города за электричество. Снабжает край белой мукой высшего сорта со своих мельниц в Повалихе. На баржах гонит за границу пшеничку... Кровосос!..

Помнится жаркий летний праздничный день. Костя соблазнил Сеню, меня и мастера-обойщика Тимофея Демченко прогуляться в монастырский бор — лучшее место отдыха в тогдашнем Барнауле.

Накупавшись в Барнаулке, мы разлеглись на берегу, в уединенном уголке. По бору разливалась густая сосновая испарина, клонившая ко сну. Но Костя не дал нам предаться неге. Он вытащил из кармана штанов брошюрку и спросил:

— Хотите, я прочту вам сказочку про пауков и мух?

— Брось, Костя! Давайте поспим. Экая благодать, а ты тут со сказкой... Мы же не дети.

— Да нет, эта сказочка как раз для взрослых.

И он прочел нам жгучий политический памфлет Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи». Отдых наш пропал. «Сказочка» В. Либкнехта всунула нам «ежа под череп». Это был страстный клич к революции! Либкнехт с поразительной силой, простотой и ясностью изобразил все категории социальных пауков и всех мух, которых пауки сосут и убивают ежечасно, всюду и беспощадно.

Теперь уже друзья Кости убедились, что он революционер-подпольщик. Однако он так и не раскрыл нам своей политической тайны...

1914-й год...

Грянула русско-германская империалистическая война. С фронта приходили безрадостные вести о бесплодной гибели русских армий, по-

губленных предателями из царедворцев и бездарными полководцами. Трагедию войны тяжело переживала вся наша страна.

Пришел я к Сене Шаронову. Стали петь и играть только что сочиненный им «Реквием». В комнату неожиданно влетел возбужденный Костя.

— Друзья! Я мобилизован! Через час должен быть на сборном пункте. Забежал попрощаться...

— Подожди, Костя, — сказал Шаронов. — Послушай мою новую вещь.

И он запел и заиграл «Реквием».

Прослушав музыку, Костя воскликнул:

— Это ты, друг, панихиду, что ли, по мне сочинил? Нет, погоди петь ее! Мы постараемся повернуть штыки и пушки на кого следует. Вот увидите!

И, расцеловавшись с нами, Костя быстро ушел.

С тех пор прошло около 47 лет. Я ничего не слышал о моем старом барнаульском друге.

И вот...

6-е августа 1961 года... Космонавт-2 Герман Степанович Титов совершил свой триумфальный полет в космос. И незаметное до того имя рядового сельского учителя Адриана Топорова неожиданно зазвучало в печати, по радио, телевидению, на собраниях.

Мой ученик и воспитанник, отец космонавта Степан Павлович Титов, переслал мне письмо Константина Еремеевича Багаева. Он разыскал меня через Степана Павловича. Таким образом и восстановилась моя связь со славным ленинцем, членом коммунистической партии с 1909 года, участником трех революций и гражданской войны.

Ныне Константин Еремеевич Багаев — персональный пенсионер. Проживает он в Ставрополе на Кавказе.

В ДЕРЕВНЮ!

День мобилизации запасных на первую империалистическую войну в Барнауле ознаменовался грандиозным пожаром. Мобилизованные разгромили спирто-водочный завод и его склады; перепились вдрызг. Как и почему возник пожар, никто точно не установил в те дни.

Когда над городом полыхало зарево, на его улицах пьяные орали песни, тащили в четвертях и ведрах водку и спирт.

Началось ограбление магазинов. Было жутко. Мне рассказывали, что шайка грабителей залезла в ювелирный отдел горящего пассажира

Смирнова, а кто-то снаружи опустил тяжелейшие металлические ставни на огромные окна и двери. И все грабители сгорели внутри пассажа... Мобилизовали в армию и учителей. Со сборного пункта пригнали нас на пристань и засадили в трюм пассажирского парохода.

Отплыли от Барнаула. Уже вечерело. В трюме раздался крик: — Все — на верхнюю палубу!

Там служил вечерню сам «апостол Алтая» — Макарий, митрополит Московский и Коломенский, бывший архиепископ Томский. Он на пароходе возвращался из отпуска, который проводил «в благословенном и возлюбленном Алтае».

Солнце недавно село, и запад еще алел. В вечерней тишине пение митрополичьего хора разносилось далеко по Оби. Кругом была такая благодать! А на душе становилось мутно от мысли, что и нас везут на бессмысленную бойню. И ради чего?!

На палубе парохода я впервые увидел митрофорного сибирского инквизитора, о чудовищных преступлениях которого не раз слышал от Леонида Петровича Ешина.

Окончив моление, тощенький, низенький старикашка с ввалившимися щеками, в будничном облачении и митре обратился к слушателям с проповедью на тему: «Положите живот свой за други своя».

Я пристально всматривался в фигурку митрополита. Говорил он тихо-тихо, слегка улыбаясь лисьей улыбкой, то и дело закрывая и открывая малюсенькие, глубоко сидящие глазенки и вздергивая седые брови.

И мне невольно пришло на ум, что этот на вид смиренненький «христоролюбивый пастырь» своею высохшей и морщинистой десницей благословил 20 октября 1905 года черносотенную банду на погром в Томске!

Это он написал, напечатал в типографии и повелел расклеить по всему Томску историческое воззвание «Спасайте царя и православную веру!».

Это он с балкона архиерейского дома произнес для «воодушевления» черносотенных разбойников «напутственное слово»: «Благословляю вас на доброе дело! Не жалейте врага, если бы он даже у вас просил пощады! С богом!»

Черные бандиты сожгли 400 человек в здании Управления Сибирской железной дороги! Такого костра из человеческих тел еще не видывала Россия!

Николай Кровавый высоко оценил холопскую преданность Макария: возвел его в сан митрополита Московского и Коломенского.

Трудно верилось, что такое ничтожество было вдохновителем кошмарного злодеяния!..

В Новониколаевске (старое название Новосибирска) мобилизованные педагоги расстались с митрофорным зверем. Он — в Москву, мы — в Томск.

В загородной роще нас выстроили в ряд. Подвыпивший полковник остановился против ряда, набычился и рявкнул:

— Что пузо выперли, как беременные бабы?! А еще господа учителя! Стоять не умеете! А ну, рравняйсь!!!

Мы выравнились, как могли. Полковник отошел поодаль, провел мрачным взглядом по всему нашему ряду и проревел:

— Впредь до особого распоряжения — по домам! Марш обратно на пристань!

Нас повели. Чье-то сумасбродство заставило сотни учителей мыкаться в Томск и обратно! То же повторилось через месяц.

Меня миновала горькая чаша войны...

К весне 1915 года выяснилось вполне, что взаимоотношения мои с клерикальным начальством крайне обострились. Я категорически заявил всевластному барнаульскому заместителю и фавориту Макария Анемподисту, что не верю ни в бога, ни в сатану, а потому и ухожу из школы.

Это решение я принял и по другим соображениям. Для поступления в народный университет имени Шанявского у меня уже были все условия: деньги и образовательная подготовка. Но я вспомнил, что в Каплинской второклассной школе Старооскольского уезда Курской губернии (ныне Белгородской области), где я получил первоначальное педагогическое образование, при всех ее бурзацких недостатках воспитанникам внушали доброе:

— Идите в гущу народную, туда, «где трудно дышится, где горе слышится», то есть в деревню.

Да и прочел я немало о тех интеллигентах-подвижниках, благородных романтиках, которые, отрешившись от всех благ и удобств города, уходили в народ, чтобы просвещать его и тем самым отдать ему исторический долг. Мне стало стыдно перед самим собой за прежнюю мечту: «В Москву! В Москву!».

Пошел я к инспектору начальных министерских школ Владимиру Михайловичу Курочкину и подал ему прошение о назначении меня в одно из сел Барнаульского уезда. Он послал меня в школу села Верх-Жилинского Косихинской волости Алтайского края. Эта точка земного шара ныне известна всем как родина космонавта-2 Германа Степановича Титова.

В конце августа 1915 года я покинул Барнаул. На полученный в нем духовный капитал живу и поныне.

ДРАГОЦЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ

Поэт Иван Евдокимович Ерошин как-то подарил мне фотокарточку, на которой снята группа старых алтайских литераторов: он, Илья Мухачев, Александр Пиотровский и Василий Семенов. Снимок сделан в 1926 году.

Драгоценная фотография стоит теперь на моем столе, воскрешая в памяти барнаульские встречи с певцами Алтая...

Александр Степанович Пиотровский... Не могу представить себе человека, который не полюбил бы его с первой же минуты встречи. Приземистый, тощенький блондин с большой круглой головой и орлиным носом, деликатный и по-девичьи застенчивый, он сразу пленял собеседника. Его синие глаза лучились чистотой и кротостью. Во всей его подбористой, аккуратной фигуре, в словах и обращении с людьми сквозил неподдельный артистизм.

Сын польского повстанца, сосланного в Красноярск, он работал народным учителем в селе Зайцево Барнаульского уезда.

Еще до Октябрьской революции на страницах газеты «Жизнь Алтая» изредка печатались его лирические стихи и маленькие рассказы из жизни начальной школы.

В 1920 году Пиотровский переехал в Барнаул. Из родных у него оставалась только мать-старушка, обожавшая своего единственного сына. Он преподавал литературу и русский язык в средней школе, расположенной в дивной дачной местности за рекой Барнаулкой, в одном из зданий бывшего женского монастыря.

В 1922 году Александра Степановича избрали секретарем Алтайского губернского отдела Союза работников просвещения. Моя членская книжка, сохранившаяся до сего дня, заполнена его рукой 1 декабря 1922 года.

Но так как Пиотровского неудержимо тянуло к творчеству, то в следующем году он принял заведование литературно-художественным отделом в редакции газеты «Красный Алтай». Здесь его постоянно окружали начинающие литераторы. Он был щедр на добрые советы и мог безошибочно угадывать ростки таланта.

Квартира Пиотровского была тесной и бедной. Но, входя в нее, люди окунались в какую-то особенную атмосферу. На стенах комнаты — три-четыре репродукции с картин Левитана, Поленова, Васильева; на столике — изящно оформленные портреты Чехова, Бунина, Есенина; на этажерке лежали аккуратно переплетенные томики стихотворений любимых поэтов — Фета, Тютчева, Блока. А над кроватью, за ковриком, заткнуто диковинное перо какой-то птицы и веточка вербы с распустившимися почками...

Я дружил с Александром Степановичем около двенадцати лет, и поэтому вблизи наблюдал его личную жизнь и литературно-общественную работу.

За консультацией к нему, чуткому ценителю искусства, часто обращались актеры и режиссеры, скульпторы и живописцы, поэты и прозаики. Они откровенно делились с ним своими творческими замыслами и просили совета. Он не отказывал в помощи, но при этом подчеркивал:

— Мне так кажется... Ну, а там — как хотите. Автору виднее.

Помню, Анна Караваева, начинавшая свою литературную деятельность в «Красном Алтае», нередко просила Пиотровского «просмотреть» написанные ею произведения. Первая ее крупная повесть «Флигель», опубликованная в «Сибирских огнях» в 1923 году, предварительно прошла через руки Пиотровского, равно как и ее первые стихи. Я слышал, как Анна Александровна допытывалась:

— Александр Степанович, почему у меня так не выходит, как у вас, — лаконично, емко?..

Смущаясь, он отвечал:

— Да... как сказать? Я просто не умею писать длинно. Длинные стихи без глубокой мысли плохо ложатся в голову. Читателю трудно одолевать их.

Пиотровский писал слишком мало. И лишь тогда, когда его призывал «к священной жертве» Аполлон. Он не понимал, как это можно творить не по настоятельной душевной потребности.

Основное содержание его немногих стихотворений — лирические пейзажи, овеянные романтическими, едва ощутимыми настроениями. В предельно кратко нарисованных и, казалось бы, самодовлеющих пейзажах поэт находит свой поворот темы, и стихотворение приобретает неожиданно волнующий «общечеловеческий» смысл. Помню, меня поразили строгие прозрачно-ясные строки из его «Ледохода».

Там с крутояра-чернозема,
Над зеркалами мутных вод,
Среди березника у дома,
Старик глядит на ледоход.
Реки ломаются доспехи,
С весенним льдом плывет зима:
Дорога, проруби и вехи,
И глыб сугробных терема.
Но почему за далью синей
Утрата их ему больна?
Быть может, там плывет на льдине
Его последняя весна.

Все созданное А. С. Пиотровским почти не выходило за пределы Сибири и ныне незаслуженно забыто.

Поэт не любил спешки в творчестве, а медленно, терпеливо и тщательно гранил свои скупые, но для меня незабываемые стихи.

— Спешить некуда, — часто говорил он. — Спешка — плохая помощница истинной поэзии.

Александр Степанович — поэт-миниатюрист. Из больших его произведений я помню только одно — поэму «По Алтаю». Она напечатана в «Алтайском альманахе», изданном в Петербурге в 1914 году.

Отдельно вышли в свет только два тоненьких сборничка стихотворений поэта. Первый — под названием «Алые сумерки» — был издан в Барнауле в 1922 году. Второй — «Стихи» — там же в 1927 году издал на собственный счет и в убыток бескорыстный любитель и пропагандист советской художественной литературы Василий Михайлович Семенов.

Лирика в духе Фета и Тютчева в двадцатых годах была не в почете, а Пиотровский поклонялся этим представителям «ажурной» и философской поэзии...

В среде друзей Александр Степанович всегда шутил, шаржируя известных барнаульских общественных деятелей: литераторов, врачей, адвокатов. При этом он неподражаемо верно передавал интонации голоса, мимику и жесты пародируемых лиц. Так, весьма популярного в Барнауле врача Велижанина он точно рисовал несколькими фразами:

— А вз тим-пи-ра-ту-рит? Дышите... Еще дышите. Тэ-э-экс!..

Будучи человеком «тише воды, ниже травы», Александр Степанович однако дерзал восставать горой за несправедливо обиженных товарищей. Тяжелого инвалида, но талантливого артиста, драматурга и фельетониста С. Ляликова недолюбливал редактор «Красного Алтая». Стоял вопрос об увольнении даровитого, несчастного человека, обремененного большой семьей. И Пиотровский решительно предложил редактору:

— Увольте меня. Оставьте товарища Ляликова: у него же семья. Куда он пойдет, если вы уволите его?!

И карающая десница редактора опустилась...

В двадцатых годах в Барнауле литераторы охотно и часто встречались со своим читателем. Литературные вечера и диспуты устраивались в больших залах, заполненных рабочими и служащими. Александр Степанович бывал неизменным участником этих вечеров. Но его стихи не производили на слушателей сильного впечатления, потому что автор читал их еле слышно. Они были рассчитаны на чтение в интимном кругу. Их задушевный лиризм совершенно пропадал при громкой декламации в большом зале...

Поэт любил путешествовать по Алтаю и Енисею, где он собирал

сказания о былом. Однажды, вернувшись из Красноярска, он рассказал мне о своей встрече с тамошним старожилом.

Старик рассказал поэту интересную историю о том, как муха, нарисованная на чистом листе бумаги, понравилась Красноярскому губернатору и была началом славы великого художника В. И. Сурикова. Спустя тридцать лет я вычитал этот эпизод в монографии, посвященной жизни и творчеству живописца-красноярца.

А. С. Пиотровский был тонким рисовальщиком. Его карандашные пейзажи поражали необычайной поэтичностью. Но он заботливо скрывал их от посторонних глаз. Один из его пейзажей «Березки» долго хранился у меня, но погиб со всеми архивными материалами во время Отечественной войны...

Последний раз Александр Степанович Пиотровский гостил у меня в коммуне «Майское утро» в июне-июле 1929 года. На память об этих днях и осталась групповая фотокарточка.

Покинув Сибирь в мае 1932 года, я потерял следы моего друга. И только в 1957 году Иван Евдокимович Ерошин подал мне печальную весть о Пиотровском:

«Пиотровский — это прекрасный поэт и кротчайшего характера человек. Жил он несколько лет с родительницей в городе Кемерово, учительствовал. После смерти матери от безысходной тоски он пил. Около него не было ни друзей, ни знакомых, кто бы поддержал его в дни одиночества и горя. Так вот он и угас, как в степи огонек, всеми покинутый и забытый. Я жил в Кемерово, расспрашивал местных литераторов о нем, но никто не мог мне что-либо сказать, и никто не знает, где его могила...»

АЛТАЙСКИЙ САМОЦВЕТ

Илья Андреевич Мухачев — выходец из семьи алтайского лесоруба. Когда отгремели громы гражданской войны, он некоторое время не знал причала, был в тяжелом материальном положении. Нужда погнала его в Бийск, где он поступил на кожзавод мездрильщиком — сдирал подкожную плеву. Но и тут жилось ему не сладко. Питался кое-как, перебиваясь с хлеба на квас. Ходил в обшарпанной военной шинелишке с кожаными самодельными пуговицами.

Но чуткая душа его жадно воспринимала «все впечатленья бытия» и просилась излиться в живом слове. И он стал пробовать свои силы в стихах.

Первые стихотворные опыты он отдал еще в декабре 1923 года в верные руки искателя талантов Василия Михайловича Семенова, работавшего в редакции бийской уездной газеты «Звезда Алтая».

К четвертой годовщине комсомола Алтая Илья Андреевич написал стихотворение, которое было опубликовано 8 января 1924 года в «Звезде Алтая». И В. М. Семенов убедился, что Илья Мухачев — незаурядный, но еще «сырой» талант и настоятельно посоветовал ему учиться, читать.

В 1924 году были напечатаны стихотворения Ильи Андреевича «Комсомольцы», «Голодные дети Германии» и «Комсомольцы Алтая». Семенов всячески поддерживал его. В «Обутке» — сатирическом приложении к «Звезде Алтая» — молодому поэту была предоставлена широкая «жилплощадь», и читатели скоро заметили его — стихи и частушки звучали в журнальчике едко и своевременно.

В начале 1926 года Семенов перебрался из Бийска в Барнаул и принял заведование отделом в редакции газеты «Красный Алтай». «Обуток» прекратил свое существование. В Барнаул потянулся и Мухачев. Но здесь он попал из огня да в полымя. В редакции газеты не оказалось для него штатного места, а на внештатную репортерскую работу он был совершенно не пригоден.

Тогда Семенов предложил завести в газете уголок «Колочие факты». С ним согласились. Для «уголка» отбирались подходящие материалы из писем селькоров и передавались Мухачеву. Илья Андреевич сочинял по ним сатирические стихи, которые печатались под псевдонимами: Лука, Крюков, Шило, Зуб и др. Одновременно поэт писал и разные другие стихотворения. Однако гонорара за всю эту работу не хватало даже на мало-мальски сносную жизнь.

Как раз в эту пору он и появился в квартире Александра Пиотровского в доме учителя И. М. Чупрунова на Томской улице. Там я и познакомился с Ильей Андреевичем лично.

Высокого роста, слегка раскосый, одетый в замызганные пиджачишко и брючки, он выглядел медвежатным деревенским парнем. Застенчивый и угловатый, он говорил так вкрадчиво и робко, точно сообщал собеседнику какую-то тайну. Иногда по лицу его скользила хитроватая усмешка, которая говорила: «Погодите, я вам уже покажу!» Но когда он, вынув из кармана замусоленные клочки бумаги, читал по ним свои новые стихи, то весь преображался, сидя, казался выше ростом, победно оглядывал слушателей. Обычно монотонный голос его покорял тогда гибкими, задушевыми интонациями...

Освоившись в кругу барнаульских друзей, Илья Андреевич держал себя развязно, много и громко говорил о литературе, рассказывал о своих приключениях, творческих замыслах и восторгался Есениным, особенно его «Москвой кабацкой».

В период увлечения Есениным он написал «Цыганку» — явное подражание своему кумиру. Это стихотворение Илья Андреевич считал тогда своим большим достижением и охотно декламировал его в круж-

ке Пиотровского. При этом он даже изображал пляшущую цыганку, выкидывая характерные антраша, изгибаясь и встряхивая воображаемыми кудрями и серьгами.

Однажды кто-то из участников кружка высказал сомнение в высоких достоинствах экзотических стихов Есенина. Илья Андреевич вмиг ошетинился и разразился саркастической тирадой:

— Эх, вы!.. Слепые и глухие... Мир еще не знал такого тонкого проникновения в суть вещей и души человеческой, какое показал Есенин!.. Нос у многих толст, чтобы почувствовать всю глубину и поэтичность каждой есенинской строчки... Есенин — титан поэзии! Он опередил нашу эпоху на сто лет!..

Его увлечение нездоровыми стихами Есенина было непродолжительной болезнью, которую он превозмог без особых мук. Но, безусловно, осталось на всю жизнь преклонение перед высоким и прекрасным, что создал Сергей Есенин.

В. М. Семенов тогда хорошо зарабатывал, имел просторную квартиру на Интернациональной улице. Одна комната была отведена Илье Андреевичу, но он стеснялся приходить ежедневно, отнекивался. С трудом убедили его хотя бы обедать у Семенова, который в это время усиленно работал над повестью об Алтае. Закончив, он дал Илье прочесть рукопись. И через два дня, за вечерним чаем, Мухачев, пришедший с Пиотровским, прочел свое новое стихотворение «Чуйский тракт». Оно очень понравилось всем присутствующим, как ранее понравилось стихотворение «Камень», видимо, созданное как нечто противоположное стихотворению «Камень» Пиотровского. Тогда Семенов, шутя, обратился к Пиотровскому:

— Казнись, Саша! Илья уже побил тебя «Камнем», а теперь весь Алтай на тебя опрокинул...

Все рассмеялись. А Василий Михайлович уже серьезно продолжал:

— Пора бы тебе, Илья, сборничек стихов издать — ведь много хороших стихов у тебя накопилось.

В Барнауле в 20-х годах не было государственного книжного издательства. Вот почему в июле 1926 года В. Семенов предпринял издание на собственные средства сборника Мухачева «Чуйский тракт», так как был убежден — поэт написал уже немало ценного. Весь тираж — 2000 экземпляров — издатель подарил автору в безусловное его распоряжение. Сдав этот тираж в барнаульский книжный магазин Сибкрайиздата, Илья Андреевич получил 400 рублей — изрядную по тому времени сумму...

Сборник назван первым помещенным в нем стихотворением, на которое поэта вдохновила повесть Семенова «Аргамай». Обложку сборника украсил рисунок известного художника-алтайца Г. И. Гуркина.

Сборник «Чуйский тракт» понравился и моим слушателям — крестьянам в коммуне «Майское утро». Их тронула кольцо́вская искренность, простота и живописность стихов алтайского поэта.

Помню, Михаил Алексеевич Носов пророчил:

— Из этого Ильи Мухачева разгорится большой поэт...

И он «разгорелся». Начиная с 1925 года до самой смерти поэта в 1958 году его произведения не сходили со страниц «Сибирских огней» и других периодических изданий Сибири. Лирические миниатюры постепенно сменялись широкими картинами, изображающими советского человека, покоряющего и преображающего природу для счастья всех людей...

ЧЕЛОВЕК С ДУШОЙ НА РАСПАШКУ

Элегантный брюнет с правильными чертами лица, в темном пенсне — он походил на салонного «жоржика», а на самом деле был парень-рубаха, проstack, душа-человек.

Ветры революции и гражданской войны занесли его из Петрограда в Бийск, где летом 1918 года я и подружился с ним. Он печатал в местной газете свои лирические стихи, маленькие рассказы и стихотворные фельетоны, направленные против колчаковских порядков. Подписывал он свои произведения разными псевдонимами. Многие вещи Кравцова беспощадно зарезала цензура. В кругу друзей он читал и выверял свои произведения, но плохо понимал драконовские условия, в которых творил.

Рассказы Кравцова отличались чеховской простотой и тонким психологизмом. Такова его «Эпитафия». В ней изображался старик-дьячок при кладбищенской церкви, от природы наделенный поэтическим даром, который он употребил на составление эпитафий. Но когда умер его единственный и любимый сын, дьячок никак не мог найти для эпитафии слов, которые выразили бы всю глубину его отцовской скорби. И его «муки слова» окончились просто фразой: «Спи, мой желанный».

Большое впечатление на друзей Кравцова произвел его рассказ «Письмо».

Конец первой империалистической войны. Фронт. Брожение среди солдат. Рядовой Степан Бочкарев, поняв чистым сердцем большевистскую правду, начал агитировать товарищей повернуть штыки и дула назад, чтобы превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Царская охранка ловит его.

Дома давным-давно ждут не дождутся письма от Степана. Наконец, долгожданное письмо приходит. Родные рады, разрывают конверт и читают:

«Рядовой Н-ской части... Степан Бочкарев за призыв солдат к ниспровержению существующего строя осужден к смертной казни».

Так, помню, оканчивался рассказ. И он действовал на слушателей, как неожиданный выстрел.

Увидел ли когда-нибудь этот рассказ свет, я не знаю.

Из стихотворений К. П. Кравцова замечательна сатирическая «Колыбельная», ходившая в Бийске по рукам. В ней автор бичевал террор колчаковских банд, рисовал продовольственные беды населения. Костя предложил ее газете, но редактор вырвал из нее жало. Однако и в кастрированном виде она полюбилась читателям. Антиколчаковского духа вытравить из «Колыбельной» никому не удалось.

Все стихотворение забылось, но некоторые строки из него еще живы в моей памяти:

Вот и лампочка погасла...
Спи, сыночек, почивай!
Будет сахар, будет масло,
Будет сало, будет чай.

Гули, ласточки уснули,
Кончив свой полет и труд.
А повсюду свищут пули
И гуляет буйный кнут!

Твой отец, слуга народа,
Скоро выйдет из тюрьмы.
Засияет свет свободы,
Заживем на славу мы...

Квартировал Константин Петрович в заболотной части города Бийска, на окраине. Комната, в которой он ютился с женой и дочерью-подростком, была убогой: потолок провисший, стены кривые, пузатые, в полу зияли большие щели, из которых несло холодом...

В летнее время Константин Петрович писал на грубке: стола письменного у него не было. А зимой свое рабочее место он устраивал просто: садился на кровать, перед ней ставил табуретку, а на нее громоздил длинный дорожный чемодан. На этом чемодане он и написал сатирическую пьесу-сказку «Ивашкино счастье», изданную в Бийске на бурой оберточной бумаге. С большим успехом эта пьеса шла на сцене бийского городского театра, построенного, как говорили, купцом Копыловым, грабившим алтайцев десятки лет!..

По ходу пьесы полагалось петь колыбельную песню. В Бийске же

доморощенных композиторов не было. Эту песню сочинил я. Постановкой сказки руководил актер-профессионал Кубацкий — одаренный комик, пьяница и забулдыга. Главную роль пьесы он сыграл превосходно. Так что чудаковатый, но остроумный городской врач Петр Петрович Боржек не зря шутил:

— Да, чтобы так сыграть дурака, надо иметь много ума!..

Считая, что он создал своей игрой славу Крапцову, Кубацкий принялся бесцеремонно «доить» автора «Ивашкина счастья». Сегодня он у него брал десять рублей, завтра — пятнадцать, послезавтра — двадцать и т. д. Купив на тощий свой гонорар мяса, муки, картофеля, Костя обязательно половину их нес Кубацкому.

— Костя! У нас же у самих нужда, — укоряла его жена. — Развяжись ты с этим Кубацким!

— Но пойми, Нюша, у него же нет ни шиша! А в семье четверо!

В редакции бийской газеты Константин Петрович заведовал литературным отделом. Раз поздно вечером он прибежал ко мне на квартиру и, размахивая в воздухе бумажкой, возбужденно сказал:

— Талант! Матерый талант! Ище!

— Да кто?!

— Кубацкий! Он не только актер, но и поэт! Смотри, какую он штуку завернул! На днях пушу в газете. С редактором я уже договорился. Аванс дал автору — пятнадцать рублей. Конечно, пока из своих личных... Потом сочтемся.

И Костя артистически прочитал мне стихотворение: «Мысль».

Я расхохотался.

— Что ты?! — вскинулся Костя.

— Костя, милый! Это же стихотворение давным давно опубликовано в антологии «Русская муза».

Я достал книгу с полочки и нашел в ней стихотворение «Мысль», подписанное буквой «Д».

— Костя, видишь: настоящая фамилия автора этого стихотворения неизвестна. Твой Кубацкий знал, шельмец, кого удобнее обокрасть.

Константин Петрович рухнул на стул и прошипел:

— Как он подвел меня!

Этот скандальный эпизод положил конец дружбе Кости с Кубацким.

Весной 1919 года Константин Петрович перекочевал в Барнаул, снял комнатку на даче родственников Глеба Михайловича Пушкарева. Вернулся в Барнаульский уезд и я. Часто бывал у Кости. Сочувствуя большевикам, Крапцов скрывал у себя дезертиров из колчаковской армии, кормил и поил их, хотя сам крайне нуждался.

В Барнауле Костя печатался редко. В 1925 году летом гостил у

меня в коммуне «Майское утро». Коммунары готовили тогда к постановке его сатирическую пьесу-сказку «Ивашкино счастье». На репетициях автор сам был режиссером. Спектакль доставил ему большое удовольствие.

Тоска по Ленинграду неотступно грызла Константина Петровича. И не раз он откровенно признавался:

— Я неисправимый урбанист. Люблю большой город! А тем более — Ленинград!

При первой возможности он туда и уехал.

И как в воду канул.

ДОН КИХОТ БАРНАУЛЬСКИЙ

Жарким летним днем 1921 года в палисаднике квартиры А. С. Пютровского, в бору за рекой Барнаулкой, собралась группа молодых литераторов. Константин Петрович Кравцов шутливо представил приведенного с собою товарища:

— Познакомьтесь: шатун всесветный, но благородный поэт неискоренимый патриот Сибири, ходячая энциклопедия, Дон Кихот Барнаульский — Александр Иванович Балин. Прошу зачислить в нашу ложу!..

Ему было на вид не более 30—33 лет. Высокий, тонкий, с сухощавым лицом, на котором сильно выдавался красивый нос с горбинкой, он и впрямь смахивал на рыцаря печального образа. Лохмы небрежно причесанных волос в поэтическом беспорядке покрывали его голову, уши, свисали даже на плечи. Большие светлые глаза лучились тепло и весело. Они сразу располагали к доверию и влекли к себе...

Скоро Александр Иванович стал в нашей «ложе» общим любимцем. Всех нас удивляли его огромная эрудиция, скромность и девичья застенчивость...

Высшее образование Александр Иванович начал в Томском университете, а закончил в Казанском по юридическому факультету.

В Барнауле на литературных собраниях поэт часто читал свои стихи и выступал с критикой произведений членов объединения. Эта критика доставляла слушателям истинное наслаждение, так как она всегда отличалась солидной аргументацией, правдивостью, утонченной корректностью и благожелательностью.

Александр Иванович никогда особенно не заботился о своей внешности. Живя бобылем, он носил простенький костюмишко, обшарпанные ботинки. В стужу ежился в стареньком осеннем пальтишке и кепке. Детская непрактичность причиняла ему много лишений и неприятностей. Свой скудный заработок он раздавал проходимцам, а сам недоедал.

В Барнауле, на углу Пушкинской улицы и Соборного переулка, то есть на самом бойком месте, в теплое время почти ежедневно можно было видеть нищего, просившего подаяния. Мы знали, что это был симулянт и алкоголик. Но он так искусно закатывал под лоб глаза, что видны были только их пугающие белки. Сидя на скрюченных ногах возле своей шапки, опрокинутой вниз тульей, он трагическим басом тянул:

— Подайте слепому, не видящему от роду ни солнца, ни луны, ни звезд небесных, ни отца, ни матери... Подайте калеке несчастному. Господь-бог да водворит вас в селениях праведных...

Один раз мы с Александром Ивановичем проходили мимо этого нищего. Поэт бросил в шапку пятак, остановил меня, стянул с тротуара в сторонку и сказал:

— Посмотрите-ка повнимательнее на этого человека. Он, конечно, не слепой, а как здорово закатывает глаза. Как сидит! Прислушайтесь, как трогательно он причитает... Это же настоящий артист! И только за его артистическое мастерство я всегда бросаю ему пятак, даже последний.

Я возмущился:

— Но ведь он же прожженный жулик!

— Знаю, очень хорошо знаю, но люблю всяческие таланты! Поймите: его голос, глаза и поза убеждают публику. Ему верят... Кто знает: быть может, в этом жулике погиб Щепкин или Качалов!

И потом Александр Иванович рассказал мне несколько биографий талантливых людей, ушедших из жизни незамеченными.

Гуманизм Александра Ивановича распространялся на весь живой мир, а иногда доходил до смешного. Он верил, например, в доктрину «всетождества и всеравенства», перенятую у американского поэта-демократа Уитмена, которым, кстати сказать, в двадцатых годах сильно увлекались и некоторые в Сибири.

— Это — вершина гуманистической философии, — убеждал поэт, — она противостоит каннибальской философии фашизма, распространяемой на Западе. Правда, она слишком утрирует свои выводы, доводя их до странного утверждения, что нет существенной разницы между букашкой и Гете, но основная суть ее верна.

— Сомневаюсь, — возразил я. — В одном журнале была напечатана статья о том, что некоторые австрийские аристократки от безделья основали общество покровительства насекомым. На собраниях этого общества всерьез обсуждался вопрос: морально ли убивать клопов?

— Но я же не рекомендую нелепостей австрийских аристократов!..

Человек не от мира сего, Балин очень нуждался в постоянной бытовой опеке, но ее-то и не было у него в Барнауле. Никто не знал, где,

так и чем он питался. Но он никогда и никому не жаловался на свое тяжелое положение. И на вопрос: «Как живете?» — всегда отвечал с добродушно-иронической улыбкой:

— Отлично живу в этом лучшем из миров!

Однако друзья поэта хорошо понимали, что означала эта фраза, и потому умышленно зазывали его к себе потолковать, а заодно и поормить чем-либо.

Александр Иванович часто удивлял парадоксами и в суждениях, и в поведении. Так, он не терпел галстуков, которые называл «собачьей радостью», не мог без возмущения видеть живые цветы на похоронах.

— И так у нас всегда и всюду. Чтим мертвых. Живых — редко. Цветы на похоронах — это помпезная демонстрация лицемерия. И зачем губить живые цветы вообще? Мне их до боли сердца жаль. Цветы — идеальное воплощение красоты на земле. А люди нещадно уничтожают эту красоту. Надо радоваться живым цветам, ласкать ими глаза, вдыхать их аромат, а не отнимать у них жизнь. Сорванные цветы — трупы...

У каждого человека, любящего живописное и трогательное слово, есть «избранные» поэты. У Александра Ивановича таких «избранных» поэтов, мне кажется, не было. Его широкая душа принимала все истинно высокое, мудрое, прекрасное, созданное во все века и всеми народами.

В кружке А. С. Пиотровского А. И. Балин артистически декламировал произведения многих древних и современных авторов, сопровождая их глубокими и оригинальными комментариями. Помню, художник Морозов стал было «разносить» стихи Бальмонта за их «пустозвонную красоту». Александр Иванович не вынес этого «разноса» и дал художнику страстную, но, как всегда, корректную отповедь. Попутно он прочел кружковцам содержательную лекцию о Бальмонте, о его «чарах слов». В заключение лекции напомнил:

— Антон Павлович Чехов любил Бальмонта. Разве одного этого недостаточно, чтобы Константин Дмитриевич занял достойное место на русском Парнасе? Позвольте прочесть вам только одно стихотворение Бальмонта.

И он прочел:

Если ты поэт и хочешь быть могучим,
Хочешь быть бессмертным в памяти людей, —
Порази их в сердце вымыслом певучим,
Душу закали на пламени страстей...

И затем последовало внушение:

— Каждому поэту нужно переписать это стихотворение и всегда держать его на рабочем столе как напоминание: в подлинно поэтическом

произведении должны гармонично сочетаться гибкая и крепкая, как сталь, мысль, красота, как золотой узор, и страсть, подобная раскаленному металлу...

После ликвидации колчаковщины в Барнаульском уезде всюду вернулась кипучая, многосторонняя культурно-просветительная работа. Особенно — в самом Барнауле, где собралось много интеллигентов-беженцев со всех концов России. Необычно забурлила, в частности, и концертная жизнь в городе.

Среди постоянных слушателей концертов был Александр Иванович. Он мечтал о музыкальном воспитании народа, так как вслед за Ушинским считал: когда в наших школах запоют, это будет означать, что мы двинулись вперед.

Еще с 1912 года я знал самого крупного в Барнауле музыканта-пианиста Антония Ивановича Марцинковского. Деловой поляк открыл в Барнауле первый музыкальный магазин под вывеской «Эхо». Он помещался в небольшом домике рядом с кинотеатром «Новый мир» на Пушкинской улице. Конечно, магазин был открыт прежде всего ради наживы, однако он в какой-то мере послужил доброму делу музыкального просвещения барнаульцев.

Все члены кружка Пиотровского были близко знакомы с Марцинковским. Александр Иванович очень хотел, чтобы и его познакомили с «музыкальным светилом» Барнаула.

Зная, что я в коммуне «Майское утро» организовал хор и струнный оркестр, Марцинковский предложил мне купить у него ненужную ему хорошую скрипку. Я сказал:

— Только разрешите, Антоний Иванович, прийти к вам не одному, а с тремя приятелями, которые будут в роли жюри при оценке скрипки.

— Пожалуйста, пожалуйста! — согласился Антоний Иванович.

И вот я, Пиотровский, композитор Семен Васильевич Шаронов и Александр Иванович в условленный час пришли к Марцинковскому. Он жил в роскошной квартире. В зале, где маэстро принял нас, стояли обтянутые малиновым плюшем кресла. Не могу забыть смущения Александра Ивановича, с каким он входил в комфортабельный зал. Поэт, увидев себя в большом и роскошном трюме, как бы окаменел на минуту: так застеснялся он своего непрезентабельного наряда!

— Прощу садиться! — пригласил хозяин.

Я, Пиотровский и Шаронов сели, а Александр Иванович стоял возле кресла и не решался опускаться в него. Я попробовал скрипку, «жюри» одобрило ее. Купля состоялась.

— Антоний Иванович, сыграйте что-нибудь на рояле, — попросил Шаронов.

— Что же?

— Если можно, первую часть Лунной сонаты Бетховена, — осмелел Александр Иванович и сел.

И по квартире полились спокойные, мягкие и торжественные звуки, полился серебристый свет луны, заливающий уснувшую землю, навевающий на душу что-то сладостное и таинственное.

Играл Марцинковский проникновенно. Я взглянул на Александра Ивановича. Из-под ладони, прикрывшей его лицо, выкатилась сверкнувшая слеза.

А когда мы прощались с музыкантом, Александр Иванович крепко пожал ему руку:

— Это — за Бетховена...

По дороге от Марцинковского поэт долго и взволнованно говорил о музыке.

— Из всех искусств музыка — самое могучее средство гуманизации человечества. Жаль, что этого многие не понимают. Но на то и революция, чтобы скоро это поняли все. Приобщение всех трудящихся масс к искусству надо начинать с музыки. И не с частушек, а именно с Бетховена и Чайковского, с Шопена и Римского-Корсакова. Неправда, будто гении непонятны простому народу!..

Бобыльская жизнь все-таки обрыдла нашему милому Дон-Кихоту. В 1923 году он перебрался в Иркутск, где и женился на доброй, умной и образованной девушке Брохе Моисеевне Школьник, и зажил счастливо. Жена создала ему благоприятную обстановку для творчества.

В течение иркутского периода его жизни Александр Иванович написал большое количество стихотворений. А в 1934 году Восточно-Сибирское краевое издательство выпустило отдельную книжечку его стихотворений под названием «Берег».

ДЛЯ ДРУГИХ

Дядя моей жены Василий Николаевич Данилов до революции служил у барнаульского кержака-миллионера Андрея Морозова, владельца огромного универсального магазина.

В. Н. Данилов любил литературу и искусство, имел большую личную библиотеку, водился с писателями, актерами, художниками. Жена его, Елизавета Федоровна, не перечила ему в этом. Зарабатывал Данилов достаточно, а детей не имел. Он был чужд сквалыжничеству и не нажил даже собственной халупы. Но если он, бывало, находил какого-нибудь талантливого бедняка, то непременно старался помочь ему выйти в люди.

Так, он заметил в одной многодетной и полунищей семье на окра-

инной Алтайской улице Барнаула мальчика Андрюшу, который хорошо рисовал углем, мелом, карандашом и красками из разноцветных глин.

Андрюша Никулин поздно окончил начальную школу, и Данилов задумал отдать его в художественное училище. Для этого он организовал подписной лист, сам первым внес порядочный по тому времени куш — 150 рублей, чтобы сыграть на самолюбии толстосумных меценатов. Набралась солидная сумма. Андрюша Никулин благополучно закончил среднее и высшее художественное образование. Во все время его учебы Данилов регулярно оказывал ему материальную поддержку, заменяя родного отца. И даже тогда, когда Андрей Осипович стал «свободным» художником, Василий Николаевич оставался его заботливым наставником.

По складу своей природы Данилов был человеком аккуратным, стремящимся к красоте, к внутренней гармонии. Квартира Данилова, мебель, посуда, одежда, обувь, книги, картины, альбомы, постель, письменный прибор, платяные и зубные щетки и прочие предметы обихода носили печать чистоты и изящества.

Андрей Осипович Никулин был иного склада. Поглощенный всецело думами об искусстве, он безразлично относился к своему внешнему образу жизни: к порядку в квартире, к одежде и обуви, к питанию...

В молодости Андрей Осипович был красавцем. Высокий, стройный, с пышными, до плеч спадавшими волосами, одетый в демисезонное пальто с накидкой, с широкополой шляпой, он заставлял собою любоваться. Но почему-то всю жизнь художник оставался холостяком,обы-лем. И хотя зарабатывал он немало, но жил плохо.

В Барнауле жила его сестра Катя. Муж ее, художник-самоучка, рисуя образ богача под куполом высоченной Покровской церкви, упал оттуда и разбился насмерть. У многолетней Кати не было никаких средств к существованию. Андрей Осипович взял несчастную семью на полное свое иждивение...

Данилов ни в ком не терпел распустешества, ни при каких обстоятельствах. Не прощал он этого и Андрею Осиповичу. Как-то художник приехал из Москвы в Барнаул и зашел к Василию Николаевичу. Дело было в начале зимы. Давали себя знать крепкие сибирские морозы, а художник ежился в демисезонном, давно обшарпанном и полинявшем пальто с прохудившейся накидкой. Увидев его, Василий Николаевич ахнул:

— Голубчик ты мой Андрюша! Ведь ты же художник! Ну разве ж можно тебе являться из Москвы в родной город в таком архаровском виде? Да и холодно уж, зима! Сибирь!

Художник смущенно оправдывался.

— Ничего... Ничего... Я не мерзну. А накидкой я обертываю голову — и мне тепло. Ничего...

— Но люди-то что скажут про художника-земляка?

— Попа и в рогожке узнают...

— Неужели ты не можешь обрядить себя, как подобает художнику?

— Но, Василий Николаевич, вы же видите в Барнауле нищету, голоду? А в Москве ее куда больше! Надо же быть человеком, помогать. Вы же мне помогли? Помогли!

— Ну хорошо, хорошо... А как же ты, Андрюша, вращаешься в московском обществе да в таком виде?

— А я никак в нем не вращаюсь... Некогда вращаться, работаю.

— Может, ты и не обедаешь ежедневно?

— Что вы, Василий Николаевич! У меня всего по горло. Видите, какой я Добрыня Никитич!..

Так этот бессеребренник и провел всю свою жизнь для других!

Имя художника Андрея Осиповича Никулина на Алтае было широко известно наряду с именами Гуркина и Чевалкова. В Москве устраивались выставки работ художника-барнаульца. В послереволюционное время картины Андрея Осиповича показывали и в родном его городе.

В 1924 году, в квартире Данилова, я последний раз встретился с Андреем Осиповичем, приехавшим в Барнаул навестить родных и друзей. Тогда он работал в одной из московских художественных мастерских. Видно, жизнь бобыля сильно и преждевременно покорежила и состарила художника. Грузный, оплывший и флегматичный, он производил теперь тяжелое впечатление. Глаза его меркли. Тихая, усталая речь нагоняла на слушателей сон. Некогда шелковистые каштановые волосы, ниспадавшие на плечи, густо задымались, стали короткими и стрелами разбегались во все стороны.

Художник не любил говорить о своем творчестве. На назойливые допросы собеседников он неохотно, вяло, полужразами ронял:

— Да, кое-что там... написал. А дальше... кто его знает, как оно образуется... Может, что и выйдет... Не те уж силы...

Каков был дальнейший жизненный путь художника, мне неизвестно. Знаю только, что в тридцатых годах в Государственной Третьяковской галерее я видел его большое полотно «Алтайские партизаны», вошедшее в золотой фонд нашей живописи.*

* А. О. Никулин умер в Москве, в 1943 году. В настоящее время наш музей изобразительных искусств готовит выставку работ художника. (Ред.).

ПРОТОДЬЯКОН В РОЛИ ЧЕРТА

1920 год... Композитор Андрей Викторович Анохин преподавал музыку и пение в лучшей Барнаульской средней школе. Он создал отличный ученический хор, который давал в городе много интересных концертов. На эти концерты народ валил валом. Так они были необычны и так их любили барнаульцы.

В программы концертов включались классические произведения, доходившие до Сибири новые песни советских композиторов и сочинения самого Андрея Викторовича, написанные на тексты алтайского фольклора (А. В. Анохин — крупнейший алтаевед).

В зимний сезон 1921 года в Барнауле проходил целый цикл концертов из произведений Андрея Викторовича. Исполнялись, между прочим, сюита для хора и оркестра «Хан-Алтай» и оперы «Хан-Эрлик» и «Талай-хан».

Концерты шли в длиннейшем зале бывшего пассажа купца Полякова. Для усиления школьного хора мужские голоса набирались из любителей со стороны. Оркестр был сводный. Концертмейстером оркестра состоял преподаватель языка и литературы в Барнаульском рабфаке, скрипач Гавриил Сергеевич Федосеев, впоследствии литературовед, критик в Москве, ныне покойный.

В опере «Хан-Эрлик» действует подземный бог Эрлик — олицетворение мрака и зла. По замыслу композитора, это черное чудовище с огромной курчавой головой должно обладать пугающим замогильным басом. Ему в опере отведена главная роль.

Долго искали в Барнауле баса, годного для этой роли, — не нашли. Спектакль стоял перед угрозой срыва. Но вот кто-то предложил:

— В Семипалатинске, в соборе, есть протодьякон с громовым басом. Он как раз подошел бы для роли алтайского черта. Надо договориться с ним...

Послали в Семипалатинск делегата к протодьякону. Он дал согласие играть Эрлика. И черт из него вышел неподражаемый! Он выступал голым (а в зале был страшный холодище!), только с легким поясным, весь измазанный маслом и сажей. И ревел жутко, сотрясал пол сцены и наводил ужас на слушателей.

По окончании премьеры оперы автор за кулисами в восторге кинулся обнимать и целовать протодьякона-Эрлика, весь измазался об него сажей и маслом! Долго смеялись...

В январе 1925 года в Москве проходил Первый Всесоюзный учительский съезд. В числе его делегатов от Алтайской губернии был и я. В столице всем делегатам предоставили возможность познакомиться с учебно-воспитательной работой образцовых школ.

По возвращении в Барнаул я делал доклад о ВУСе на губернском съезде работников просвещения. Помнится, в докладе я сказал:

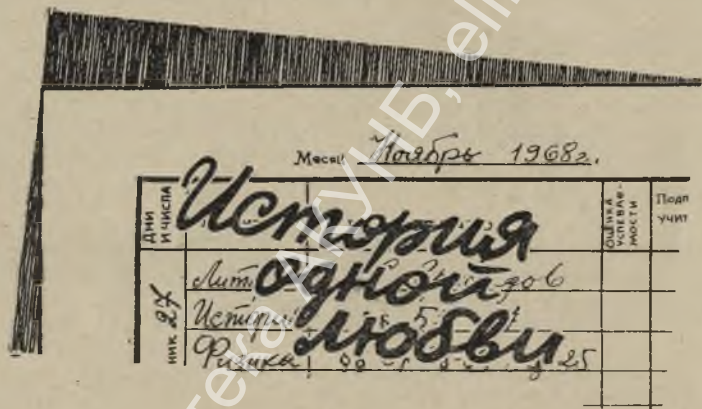
— Конечно, Москва — во всем наш учитель. Там чудес — не счесть. Но мы, алтайцы, здорово удивили товарищей-москвичей, рассказав им о том, что в Барнауле ученический музыкально-драматический коллектив ставил даже алтайские оперы и исполняет сюиты для хора и оркестра и что этим достижением мы обязаны поэту, ученому, дирижеру и композитору, нашему славному товарищу Андрею Викторовичу Анохину...

После губернского съезда губком Союза работников просвещения устроил скромный товарищеский банкет. Вдруг вижу: сквозь шумную толпу пробирается ко мне корпулентный мужчина с одутловатым лицом и длинными «композиторскими» волосами. Он возбужденно схватил обеими руками мою руку и патетическим шепотом произнес:

— Спасибо!.. Благодарю, что поняли... вспомнили Анохина в Москве!..

Лучший алтайский композитор, поэт и ученый Андрей Викторович Анохин умер в возрасте 57 лет, не успев завершить своих музыкальных, антропологических и этнографических работ...

Лев КВИН



ИЗ ДНЕВНИКА, НАЙДЕННОГО ЗА ШКАФОМ

25 февраля

День прошел на троечку. Даже с минусом...

Главное — никакого пловца из меня не выйдет! Это окончательно выяснилось вчера в бассейне, на отборочных заплывах всей нашей школы.

Дыхание короткое, устаю быстро. И никак, ну никак не получается поворот. Кирилл успевает уйти на два корпуса вперед, пока я барахтаюсь у стенки.

Жаль! В прошлом году хотел в школьную команду по конькам — сломанная нога подвела. А когда я ее сломал, даже не помню. Мама говорит, мне тогда два года или еще меньше было. Только научился ходить — и пожалуйста. Вот как горько приходится расплачиваться за грехи своей молодости! А теперь еще на плавание крест. То есть, плавать я, конечно, буду, но, как метко выразился Кирилл, только для своего удовольствия.

Тоже мне удовольствие — для своего удовольствия!

Зато он как плавает! Ах! Эх! Их! Ох!..

Не буду, не буду, не буду — неохота зря расстраиваться. И начинают шевелиться всякие черные мыслишки.

После ребят плавали наши девочки. Кирилл очень смешно комментировал: «Муська как дельфин... Лена как тюлень. Зато у нее глаза красивые». Негромко, конечно, комментировал. Только мне одному и было слышно.

Кстати, разве тюлени плавают плохо? Завтра выяснить. И почему у Лены красивые глаза? По-моему, самые обыкновенные синие глаза.

А синие ли? Или не синие?

Вот это номер! Четыре года сидит она впереди меня, а я не знаю, какого цвета у нее глаза. Наблюдательность — хи-хи!

Так какого же цвета? Синие? Голубые? Серые? Или серо-буро-малиновые?

Завтра выяснить. Обязательно!

26 февраля

Пятак по физике. Очень даже кстати. Тройка, четверка, тройка снова, а теперь пятак. Выходит твердая железобетонная четверка. Если само собой, еще не поймаюсь. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность!

Так вот: тюлени плавают отлично, как я и подозревал.

С Ленкиными глазами хуже. Присматривался очень долго, но точно так и не определил. По-моему, серенькие в коричневую крапинку. Так бывает? А насчет того, что красивые, — тут Кирилл просто нафантазировал. Глаза как глаза. Вон у Светы Зарубиной не глаза — пятаки. Черные, большие, как у коровы. Это красота! А у Лены что? Нормальные человеческие глаза. Если у нее красивые, то и у всех.

А Кирилл спорит:

— Много ты понимаешь в глазах!

Я ему сказанул в ответ такое:

— Может, ты в нее влюблен? Влюбленные всегда преувеличивают, известное дело. Вон Данте про свою Беатриче сколько всего понаписал. А она, говорят, была самой заурядной особой.

Ха-ха! По-моему, ничего сказал.

А он спокойненько так:

— Ничего ты, Серж, не смыслишь. Ребенок ты еще, Сергунчик. Во-первых, она блондинка, а блондинки не в моем вкусе. Во-вторых, мне некогда всякими глупостями заниматься. Я поставил перед собой цель и растрчивать себя на пустяки не намерен.

Я знаю, какая у него цель. Он не говорит, но я все равно знаю.

Кирилл хочет стать чемпионом Советского Союза или даже мира по плаванию.

И будет! Мастерство — раз, воля — два, напористость — три.

Не то, что у меня, расхлябуши.

Печально, но факт.

Спать, спать, спать! Дал себе слово ложиться не позднее одиннадцати, а сейчас уже без двадцати двенадцать!

28 февраля

Воскресенье пролетело как сон. Цветной, широкоэкранный, с участием лучших артистов кино.

Сегодня в классе была буза. Кто-то, Валька Старушин, кажется, принес мыша.

Англичанка — и-и-и!

Мы — а-а-а!

А потом всем классом уверяли ее, что ничего не было. Что ей — и нам тоже — это ей в утешение! — просто померещилось.

Поверила? Или сделала только вид?

Интересно все-таки знать, что у них, у наставников наших, там внутри? Такая же красная кровь, как у нас? И кости такие же? И мысли? Например: ах, скорее бы кончился этот английский!

На перемене девчонки злились и ругались.

А мы им:

— Как же вы на фронте будете, если мышей боитесь?

Они у нас почти все в медицинском кружке.

Все! Еще к Кириллу бежать за физикой — у меня как раз эта страница выдрана. Или вырвана? Или все-таки выдрана?

Вероятно, правильно так и так.

Да, чуть не забыл. У Ленки глаза, похоже, и в самом деле красивые. Особенно, когда злится.

3 марта

Вот дурак, ну как же я раньше не замечал?

У нее такие глаза!

4 марта

Нет, кто рассказал бы, я бы ни за что не поверил! Неужели это начинается вот так? Кто-то говорит: «Смотрите, какая красивая девушка». И ты, который все время ее видел, изо дня в день, из часу в час, вдруг замечаешь: и в самом деле, красивая!

Или просто гипноз? Взял меня Кирилл да и загипнотизировал, а?

Сегодня сто раз заставлял Лену оборачиваться: «Лен, дай карандаш», «Лен, чернила есть фиолетовые?», «Лен, стиралку!».

В конце концов она даже рассердилась:

— Вон твоя стиралка лежит!

А я покраснел и забормотал что-то невразумительное.

Я соседки опасаюсь,
Взглянуть боюсь,
Говорить с ней не решаюсь —
А вдруг влюблюсь?

А что? Ничего! Я ведь никогда еще не писал стихов. Первый раз в жизни — ха-ха!

Буду тайну свою я
Хранить до дня,
Когда сама полюбит
Она меня.

Сдурел!

Пушкин! Сережка Пушкин!

6 марта

В понедельник женский день, а завтра воскресенье. Вот сегодня безобразная половина нашего девятого непромокаемого и подносила заблаговременно прекрасной половине класса свои дары. Смешали все в кучу и разыграли, кому что дарить. Мне попался носовой платок для Муськи Сазоновой, который и был ей вручен с поклонами и всякими словами, довольно остроумными, сейчас уже точно не помню — что-то насчет насморка.

Лене вручал Мишка. Куклу со звоном. Все было как в лучших домах Филадельфии.

А потом, на второй перемене, Лена разозлилась на меня страшно. А что я ей, спрашивается, такого сделал? Она стояла возле класса, совсем одна, и я сказал:

— Знаешь, у тебя глаза хоть и в крапинку, а красивые.

Губы поджала, фыркнула:

— Вот вечно ты, Никулин, всякие гадости говоришь! Что за удовольствие такое — людям настроение портить!

И отошла.

Как это понимать? Я лично отказываюсь. Если бы мне такое насчет глаз сказали, я бы за счастье посчитал. Особенно, если Ленка сказала бы.

Да, но я ей совсем-совсем не то, что она мне.

Неужели она меня не любит?

Ни капельки?

И никогда не полюбит?

Смотрел на нее, не мигая, целый урок. Все внушал: повернись, повернись, повернись.

Не получилось!

Ерунда вся эта телепатия. Правильно говорят: жульничество, не наука никакая.

7 марта

Воскресенье. И завтра тоже выходной. Целых два дня!

А мне в школу охота. В школу!..

Когда ты смотришь на меня,

Пронзив стрелю...

Стрелюю, башкою, прямою, тропою... Столько слов всяких, а найти нужное не могу.

Ох, чую я, чую, поэт из меня такой же, как пловец. Или как конькобежец. Неужели и здесь я сломал ногу в двухлетнем возрасте?

9 марта

Сегодня взял да и показал стихи Кириллу. Те, первые: «А вдруг влюблюсь». Он сказал, что чувства много, а стихи поганые. Так и сказал: поганые. Можно было как-нибудь повежливее. Я их целый вечер кропал, а он: поганые. Никому, кроме Кирилла, я бы такого не позволил.

Кирилл умница. Он сразу сообразил, что я влюблен. Обрадовался так. Говорит:

— Надо действовать!

Сам знаю. Но как? Как?

Весь день мучает меня сегодня вопрос: а можно ли полюбить такого, как я? Кто даст ответ? Зеркало? Ну, смотрел. Ну, человек как человек. Ну, глаза не поймешь какие, волосы тоже. Рост средний. Все среднее.

Мама заметила:

— Что ты все возле зеркала? Собираешься куда?

И вдруг стала гладить по голове, как маленького. Стоит, молчит, улыбается и гладит. Неужели догадалась? Главное — улыбается.

Ну, внешний вид — ясно. А внутренний? Кто я такой, если смотреть изнутри?

**Мои положительные
качества**

Не вру (кроме редких случаев).
История — пять } это, конечно,
География — пять } мелочь, но все-
Английский — пять } таки

Хороший товарищ (это и Кирилл го-
ворит).

**Мои отрицательные
качества**

Робею.
Краснею.
Походочка!!!
К математике туп.

(Да, да, да — туп, не скрывать от себя
ничего — так не скрывать!)

Все? Вот это здорово! Я думал, у меня уйма всего. А тут пять
положительных и четыре отрицательных.

Если подумать, то еще, конечно, найдется, не может быть. Но все-
таки — мало.

Ну, и вывод (откровенный, беспощадный)?

Можно ли такого полюбить?

Откровенно? Беспощадно?

По-моему — нет!

Лена, так, а?

11 марта

Некогда — жуть! Конец четверти, а у меня запущено!!! Двоек,
правда, не предвидится, но троек многовато.

Кирилл друг что надо. Он за меня берется посерьезнее, чем я сам
за себя.

— Размазня ты, таких не любят!

И заставил меня писать ей записку. Да, да, самым форменным об-
разом заставил! Говорит:

— Ультиматум тебе. До завтра не напишешь ей записку — я сам
за тебя напишу. Такое напишу — со стыда умрешь.

Напишет. Вот точно!

Что же ей написать? Что?

12 марта

Сегодня утром истек срок ультиматума. Кирилл уже заготовил бу-
магу (говорит: надушенную), чтобы в случае моего отказа начать дей-
ствовать.

Пришлось писать. Я написал:

«Лена, у тебя есть цветные карандаши?»

Дурак!

Потому что: 1) такое можно просто спросить, не обязательно пи-
сать; 2) откуда у нее цветные карандаши — мы же не во втором классе.

Лена обернулась и отрицательно покачала головой. При этом смеялась.

По-моему, она уже кое-что подозревает.

Ужас какой!

А Кирилл пристал:

— Что ты ей написал?

Пришлось сказать. Вот он хохотал так хохотал. Ксения Сергеевна даже нас рассадила.

Почему у меня так странно все получается? Все наоборот. Неужели я и есть человек-наоборот? Иванушка-дурачок? Сереженька-дурачок?

А может, все это признаки моей гениальности?

Но в чем, в чем? Может, так всю жизнь и будет: я гениален, но никак не могу понять, в какой области, и гениальность моя завянет на корню, так и не раскрывшись?

А?

Да, был сегодня в бассейне. Плавал сам, но больше смотрел, как она плавает.

Здорово!

Или я уже совсем слепой и на свои глаза полагаться не имею права.

13 марта

Какой самый лучший день недели?

Воскресенье?

Ничего подобного! В воскресенье надо уже думать о предстоящих в понедельник неприятностях.

Суббота — вот лучший день для школяра. Прилетел после уроков на крыльях счастья, забросил портфель на все двадцать четыре часа — и кувиркайся, не зная забот.

Да, суббота это денек! Да здравствует суббота! Говорят, религия такая есть — субботники. Если так, то записываюсь в субботники!

Кирилл закатил мне сегодня грандиозный скандал:

— Слизняк! Воли нет! Самолюбия ни на грош!

А потом немного успокоился и стал устраивать мое личное счастье:

— Тебе надо совершить какой-нибудь героический поступок: это они любят.

Но какой? Детишки под трамваями не валяются, дома почему-то не горят, шпионов тоже что-то маловато стало.

Кирилл говорит, что даже слуха хватит. Пусть слух, что я ребенка спас или аварию автобуса предотвратил, рискуя своей жизнью, и достаточно.

Нет, слух это все-таки не то. Да и неловко!

Пойти, что ли, во двор, отыскать нашего знаменитого хулигана Гришку Кочета и набить ему морду? Все-таки не слух.

Хотя — страшновато.

Ну, смелей...

Ходил. Пытался набить, ничего не вышло. Гришка был миролюбив вполне, сигаретой угостил. Потолковали за жизнь.

Хороший он, в общем, парень. Зря наговаривают.

Или он меня испугался и не раскрылся?

Что за люди! Кругом не люди, а загадки сплошные!

14 марта

Опять воскресенье. Скоро каникулы. Лена уедет к тетке на село, и я не увижу ее почти две недели. Хотя от того, что вижу каждый день, тоже мало радости. И ехидная такая, все смеется, и, чувствую, надо мной.

Скучно!

Грустно!

И так далее!..

Вечером неожиданно нагрянул после тренировки Кирилл. Он придумал для меня колоссальную штуку. Колоссальную!

Я трушу, боюсь.

А он уговаривает:

— Стопроцентная гарантия. Знают только двое: ты да я да мы с тобой!

Завтра проводим.

У-у-у — зуб на зуб не попадает!

Все равно: уже поздно отступать.

Нет, трус я все-таки или не трус? Делаем — и все!

Спокойной ночи, товарищ Никулин. И пусть вам во сне приснится... Тихо!

15 марта

«Вчера после обеда в плавательном бассейне произошел несчастный случай. Он мог бы закончиться трагично, если бы не смелость и находчивость ученика девятой средней школы Сергея Никулина. У прекрасного пловца Кирилла Кротова в воде неожиданно начались судороги. Зная, что Кирилл великолепно плавает, никто не принял всерьез его странные телодвижения. Между тем, он быстро терял силы и уже ушел было под воду, когда его друг Сергей Никулин, почувствовав неладное, бросился на помощь и вытащил из воды совсем уже обесилевшего Кирилла».

Так, или примерно так, могли бы написать в газете о том, что сегодня произошло в бассейне.

Кирилл тонул, и я его спас. Все точно.

Шуму было!!! Особенно физрук волновался: если бы Кирилл утонул, ему влетело бы в первую очередь. Так что не зря он жал мне руку.

А мне было стыдно, и я отводил глаза.

Кроме физрука, больше никто мне руки не жал. Все толпились возле Кирилла. Он, а не я, стал героем дня.

Я был доволен и не доволен. Ну, хоть бы она подошла вместо физрука. Нет! К Кириллу подошла, а ко мне нет! А ведь спас его я, у нее на глазах.

Где справедливость?

Нет справедливости!

А вообще — гадко. Вдруг еще в самом деле в газете напишут? Физрук говорит, даже нужно написать.

Вот когда вполне можно будет умереть со стыда!

16 марта

В газете ничего нет — я ранехонько специально сбегал в киоск. И слава богу!

А Лена все-таки подошла. Перед уроком. Сказала:

— Я была о тебе худшего мнения. А ты молодец.

Слово в слово.

Ну, я, понятное дело, в краску.

Я молодец. Хорошо. Но почему я молодец? Потому что его спас?

В таком случае, я не молодец, а подлец.

Почему люди обязательно должны врать? Это же ужасно, когда тебя хвалят, а ты шаришь глазами где-то в районе пола и тщательно исследуешь, сохранились ли еще остатки сапожной мази на твоих ботинках.

17 марта

Ужас! Мрак! Позор!

Плохо мне, дневничок!

Удрать, что ли, из города? Но куда, куда?

18 марта

Два часа ночи. Пишу под одеялом, при свете фонарика. Мама загнула спать, а я должен писать. Обязан писать. Чтобы знать потом, как я сам себе в этот день в глаза смотрел.

Завтра комсомольское собрание. Меня разбирают.

Докатился!!!

Что же произошло?

А вот что. Вчера на общем собрании спортсменов составляли сборную школы по плаванию. Физрук зачитывает список. И вдруг:

— Кирилл Кротов — запасной.

Кирилл как взовьется:

— Я запасным? Это почему?

А физрук:

— У тебя судороги.

Кирилл:

— Какие судороги? В жизни не было!

— А вчера в бассейне? Представляешь, что было бы, если бы тебя Никулин не спас.

— Никулин?! Меня?! Ха-ха! Это же шутка!

Я стою ни жив, ни мертв. Кирилл ко мне:

— Скажи, Сережка!

Молчу. Чувствую только — пол ходуном подо мной заходил. Вот так, наверное, в Ташкенте трясло, когда землетрясение... И рядом она. Удивленно так смотрит.

Кирилл с ножом к горлу:

— Скажи, ну, скажи! Не буду я своей целью жизни жертвовать ради каких-то глупостей. Скажи!

И я прохрипел, как будто у меня ангина в третьей стадии:

— Не спас я его. Мы нарочно.

Какой шум поднялся — ужас! А физрук говорит:

— Все равно — не верю! С чего вдруг такие шутки? Просто Никулин сейчас друга выручает, чтобы его в основной состав включили. А о школе он не думает, что будет, если у Кирилла во время заплыва снова судороги.

И вот тут Кирилл... Конечно, я понимаю, он очень-очень хотел в основной состав. Но все равно! Так нельзя было. Про меня он мог что угодно, но зачем он Ленку назвал? Какая разница, в кого я влюблен и для кого все это сделал? А он назвал. Кто-то крикнул, может быть, даже не серьезно, а в шутку:

— Фамилия?

И он назвал. Лена закрыла лицо руками и выскочила из зала.

Я тогда подбежал к нему и стукнул по щеке. Громко так получилось — на весь зал. Он бросился ко мне. Но его схватили, не пустили.

И завтра комсомольское собрание.

Вышвырнут меня, наверное, из комсомола. Даже наверняка. И правильно! Не потому, что я его ударил, — об этом я не жалею нисколько. Потому, что согласился его спасти, — вот почему.

19 марта

Что было! Что! Что!

Пункт первый. Слушалось персональное дело мое и Кирилла.
Пункт второй. Все обрушились на него. За нетоварищеское поведение.

Директор сказал:

— Я бы с тобой в разведку не пошел.

А он бывший разведчик, ногу на фронте потерял.

Физрук сказал:

— В сборную школы — ни в коем случае. Даже запасным — нет!
Есть вещи, которые не прощаются пусть хоть самым лучшим спортсменам.

Словом, Кириллу объявили строгий выговор. Единогласно, при одном воздержавшемся (я).

Все уже встали и хотели идти. И тогда я сказал:

— А мое персональное дело?

Сели снова, стали меня разбирать. Про Лену — ни слова; а я больше всего боялся, что про нее будут говорить. Вот встает, скажем, Мишка Сухов, критикует меня почему зря. А я стою и думаю, почти что с умилением: какой же он, Мишка, хороший, до чего все правильно говорит!

И все потому, что он о Ленке не вспоминает.

И другие тоже так.

Очень быстро меня разобрали, минут десять всего, наверное, чехвостили. И объявили порицание. Опять единогласно, при одном воздержавшемся (я).

Ну все, вроде, кончилось. А Муська — она секретаршей была — спрашивает:

— За что ему порицание? Как записать?

Директор сказал:

— За попытку очковтирательства, я думаю.

И все согласились. Никто даже не вспомнил про ту пощечину, даже Кирилл.

А Лена опять улыбалась ехидно.

Все! Вычеркнуть из сердца!

Не получилась у меня любовь.

20 марта

Сегодня на алгебре она обернулась — я теперь один сижу, Кирилл ушел на последнюю парту к Лешке Иванову, — попросила ручку. Я дал — и сердце у меня хоть бы дрогнуло.

Кажется, даже не покраснел.

Во всяком случае, не сильно.

21 марта

Порвал Ленкину фотокарточку.

То есть, не Ленкину собственную, а из общей прошлогодней, когда мы на лесопосадках всем классом фотографировались. Вырезал Лену порвал.

Пусть ничего о ней не напоминает.

Так скорее справлюсь.

22 марта

Странное дело!

Спросила на перемене, смотрел ли я «Трех мушкетеров». Я сказал, что смотрел, давно еще.

Она говорит:

— А я вот еще не смотрела. Вроде, идет опять где-то, не знаешь?

Ну, я сразу вспомнил, что в клубе химкомбината. Лена обрадовалась:

— Правда? Надо сходить.

Неужели она на меня больше не сердится? Значит, не сердится, если сама заговаривает. Великодушно прощен.

Завтра последний день. Потом слезное прощанье со школой и бесконечные каникулы.

Она уедет, уедет, уедет...

23 марта

Дурак! Дурак в квадрате! Дурак в кубе!

Если Лена спрашивает: «Не хочешь еще раз посмотреть «Трех мушкетеров?» — что надо ответить?

Да, да, да! Хочу-у-у! — вот что!

А я?

Я:

— Уже дважды смотрел.

Ну, не дурак ли набитый после этого?

Но! Но! Но!!! Дуракам счастье! Вместо того, чтобы отвернуться и вообще перестать со мной, с таким олухом, разговаривать, она берет и заявляет:

— А знаешь, как наша бабушка говорит? Бог трицу любит — вот как.

Все! Некогда. Потом допишу. Надо еще сбегать в парикмахерскую, погладить брюки, почистить пальто. Уйма дел, а у нас с Леной билеты на семичасовой.

О людях,
которые
хранят
историю

Георгий ЕГОРОВ

...НО И ЛЮБИТЬ!

Для архивного работника события двадцати-двадцатипятилетней давности — не бог весть какая история. Для нее же, для Валентины Павловны Карманиной, это совсем не история — это ее жизнь.

Кажется, это было совсем недавно, прямо-таки вчера. Будто вчера бегала она с книжками мимо памятника Первопечатнику на лекции в историко-архивный институт.

Шла война. И хотя уже давно в Москве не ревели по ночам sireны, не крестили небо лучи прожекторов, не слышно было татаканья зениток, не дрожала земля от артиллерийского гула, война все-таки чувствовалась постоянно, изо дня в день, из минуты в минуту. Чувствовалась она и по сохранившимся еще на Можайском и Волоколамском шоссе надолбам, по пустым полкам магазинов, по хлебным очередям, по обшарпанным рукавам пальтишка, по аккуратно заштопанным чулкам (ох, уж эти чулки — девичья беда военных лет!), по нехватке бумаги на конспекты. Но прежде всего война давала о себе знать через желудок: постоянно, ежеминутно хотелось есть. Это ощущение не проходило даже после того, как по дороге от магазина съедала паек хлеба, полученный по студенческой карточке.

Война напоминала о себе еще и солдатскими треугольниками без марок, которые она так ждала от него, от того, за жизнь которого боялась ежеминутно. Никогда раньше не думала, что можно так переживать за человека, которого ни разу не видела и что вообще можно бояться за жизнь совершенно чужого парня. А выходит — можно. До войны была еще девчонкой-несмышленишем. Может, и нравился кто из парней, так разве относилась к этому серьезно — все это было забавой,

не больше. А потом, когда подошли годы, парни-сверстники были уже на фронте. Как говорили тогда, нагляд негде было взять парня! А молодость брала свое, и девушки писали письма на фронт, писали без определенного адреса, лишь бы поговорить с юношей, хотя бы и на бумаге.

Так началась у Вали переписка с ним. Сначала писала шутя, озорства ради. Он тоже отвечал веселыми писульками. Потом как-то незаметно, но все чаще и чаще стали проскальзывать слова участия, и постепенно начала пробиваться между строк тропинка, по которой проникли в душу первые горячие и настоящие чувства.

Каждый день, прежде чем бежать на лекции, она заглядывала в почтовый ящик. Письма приходили часто, хорошие письма, после каждого из них в течение нескольких дней не так ощущался голод, не так пробирал мороз, даже кирпичные стены института не казались такими уж промозглыми. И чем дольше длилась переписка, тем необходимой становилась она каждому из них. Они уже знали друг о друге так много, что в их душах, казалось, теперь не осталось тайников. Каждое письмо было праздником, а каждая строка в нем — откровением. Тогда она не задумывалась о том, как это называется. Потом только поняла, что это была любовь. Настоящая любовь. Она помогала жить, помогала бороться с трудностями, которых в то время было неисчислимое множество на пути каждого советского человека...

Трудно было учиться. Так трудно, что если бы сейчас начать все снова, не выдержала бы. И тем не менее, если все можно было бы начать снова, лучшего времени не надо. Счастливое время студенчества! Сейчас она затрудняется сказать, почему пошла именно в историко-архивный институт. Просто, наверное, так получилось. А спросите сегодня, смогла бы она работать где-либо еще, кроме архива, она, не задумываясь, ответит: нет, не смогла бы! Не мыслит себя на другой работе. Иной раз в метро или троллейбусе посмотрит на людей и почувствует это свое профессиональное превосходство над всеми смертными. Кто из них, из ее попутчиков, разговаривает с эпохами так же запросто, как и она!

Эту любовь к профессии привил ей еще в институте Константин Александрович Попов. Тот самый Попов, который был председателем следственной комиссии, проводившей допрос бывшего «верховного правителя» России адмирала Колчака. На его лекциях аудитория замирала. Он всегда умел программный материал иллюстрировать эпизодами из своей богатейшей биографии революционера-профессионала. Девчатам (парни не учились в этом институте, парни в то время были на фронте) казалось, что они присутствуют при допросах Колчака в кабинете начальника иркутской тюрьмы, видят, как плененный «правитель» нето-

ропливо попивает чай и рассказывает о своей жизни, присутствуют на заседаниях исполкомов первых сибирских Советов...

Какая другая профессия, думается ей иногда, способна переносить человека из одной эпохи в другую, причем не отвлеченно, в воображении, а прямо-таки натурально: она держит в руках дела и переписку учреждений, государственных деятелей, их личные бумаги, черновики, следит за ходом мыслей людей, которых уже давным-давно нет на земле. За день настолько вживаешься в давно минувшую эпоху, обстановку и события ушедших лет, что, когда выходишь в конце рабочего дня на улицу, ощущение такое, будто возвратился из невероятной командировки — из прошлого в настоящее. А там, в «командировке», с какими только людьми ни приходится порой встречаться! «Разговаривала» она с прославленными народолюбцами, такими как Желябов, Рысаков, Александр Ульянов. Но не только с теми, имена которых знает каждый школьник. Ей ведомы, например, дела и мысли Мышкина, который пытался освободить из ссылки Чернышевского и который после неудачи добивался над собой судебного процесса — хотел на нем обратить внимание общественности на ужасные условия заключения политических в Шлиссельбургской крепости. Но его казнили без всякого суда... Знает она дела и души народолюбца Кравчинского, убившего среди бела дня шефа жандармов Мезенцева и успешно скрывшегося за границу, где он был близко знаком и даже дружил с Энгельсом. Вместе с Каляевым поджидала она великого князя Сергея Александровича, приговоренного подпольной организацией к смерти, и вместе с Каляевым задержала бомбу, готовую уже полететь под карету князя-душителя, только потому, что с ним ехали жена и дети...

Кому из ее попутчиков в метро или троллейбусе доступно такое? Поэту и смотрит Валентина Павловна на своих попутчиков не то чтобы свысока, но более умудренным взглядом, что ли. Работники архивов и музеев, как и врачи, должны быть выше мирской суеты, ибо они приставлены судьбой охранять вечность...

Люди, которые имеют дело с вечностью, постоянны в своих взглядах, в своих чувствах. Постоянна и она в своей любви.

Коль снова речь зашла о любви, о той фронтовой переписке, то такие истории заканчиваются обычно так: после окончания войны (а то еще и в ходе ее) — радостная встреча заочников, а потом счастливая жизнь вместе. У Вали этого не случилось, нет. И встречи не было и совместной счастливой жизни тоже. И не потому, что погиб он на фронте. Нет, жив остался. Теперь уже она не может сказать, кто виноват в размолвке. Что-то промелькнуло в их переписке, чем-то вызванная недомолвка провела только им заметную черточку, фыркнуло молодое девичье самолюбие и... Проехал он мимо Москвы в далекую Сибирь,

тоже молодой и тоже самолюбивый. Так никогда и не увиделись они, а чувства остались на всю жизнь. Чувства — и фотокарточка его фронтвая.

Шли годы. Не шли, а летели. Жизнь так и не устроилась — после настоящего накала все казалось бесцветным и ненастоящим. Почти наизусть выучила его письма с фронта. Может, они и подогревали старые чувства, может, они и мешали настраивать жизнь на новый лад. Много лет спустя промелькнуло что-то наподобие настоящего чувства. Думала: наконец-то! А оказалось — все-таки не то. Прежнего уже не было.

И живет сейчас она с сыном, как и очень многие и не замужние, и не вдовье, те, на чью долю выпало идти по жизни, не опираясь на мужское плечо только потому, что не хватило в свое время парней — полегли они на поле боя...

Много прошло лет, так много, что выросло новое поколение людей, знающих о войне только по рассказам. А для нее все то казалось таким же близким и недавним. О нем думалось уже отвлеченно и абстрактно, как о тех, с кем «встречалась» на архивных полках, с кем разговаривала, как с ожившей для нее историей.

Но вот однажды, пробегая с работы мимо газетной витрины, по привычке мельком глянула на разворот. Глянула — и не останавливаясь, побежала дальше. А сердце кольнуло. Что-то такое было в этой газете, что заставило ее остановиться и вернуться назад. Подошла, глянула и защемило сердце — портрет в траурной рамке. Его портрет. Знала, что он работает первым секретарем обкома партии, никогда не видела его, а узнала сразу — то ли по фотографии, подаренной ей в войну (видимо, все-таки много общего осталось!), то ли фамилия в траурном окаймлении мелькнула и зацепилась в сознании. Сбегала домой за бритвенным лезвием, не таясь (кто же осудит!), вырезала некролог с портретом и унесла к себе, к той фронтвой карточке.

А утром снова на работу, как будто ничего и не случилось в жизни...

Обо всем этом поведала мне Валентина Павловна как-то неожиданно и, видимо, только потому, что я приехал из Сибири и был когда-то знаком с ним, с тем, кто для нее дороже всех остальных людей; бывает же так: почти совсем незнакомому человеку возьмешь и откроешь заветные дверцы души своей.

Меня очень тронул этот рассказ. И когда сейчас, спустя год с лишним, сел писать, подумал: а стоит ли сохранять настоящую фамилию этой женщины? Не будет ли это злоупотреблением с моей стороны такой доверительностью человека чуткого, человека с большой и цельной душой? Да и разве в фамилии дело, разве так важно читателю знать точное имя хорошего человека!

Но одно все-таки скажу: если вам придется в утренние часы оказаться на углу Большой Пироговской и Еланского, присмотритесь к людскому потоку, устремленному к подъезду огромного серого здания, и вы обязательно заметите женщину с озабоченным лицом и задумчивыми глазами — это и есть героиня моего очерка.

Кстати, не только в Москве на Пироговке вы можете встретить эту женщину.

В каждом городе, да и в каждом селе, живут они, неприметные и скромные русские женщины, которых мы по привычке со времен Некрасова называем труженицами, забывая при этом, что они созданы не только для того, чтобы трудиться, но и любить!

Электронная библиотека АКУНЬ, akunb.org

КАКОВ ЖЕ ЗАМЫСЕЛ?

ЗАМЕТКИ О ПОВЕСТИ П. СТАРЦЕВА
«К РОДНЫМ БЕРЕГАМ»

Собственно, о замысле новой работы П. Старцева можно говорить лишь в предположительном плане. Он, замысел, столь трудно уловим, что даже аннотация к повести вынуждена ограничиться констатацией **общеизвестного** исторического факта: женщина из рабочей среды «прошла через муки нищеты, темноты, предрассудков, зверских законов царизма... и достигла родных берегов — новой жизни, завоеванной в жарких схватках гражданской войны».

Однако же литературное произведение, отражая те или иные события, решает **конкретные** идейно-художественные задачи, показывает новые срезы жизненных явлений, дарит читателю открытие новых характеров. Я напоминаю об этой известной истине главным образом потому, что тема «революция и человек» разрабатывалась многими нашими художниками, каждый из которых сказал свое слово о величайшей социальной битве.

Что же нового скажет нам П. Старцев?

Такая постановка вопроса вполне естественна. В ней — ничего от того, что можно было бы истолковать как завышенные требования. В ней — тот минимум, на который вправе надеяться читатель.

1.

Хотелось бы сразу же предупредить: повесть оставляет безрадостное впечатление. Ее недостатки настолько тревожны, что отмечать немногие достоинства произведения — все равно, что, говоря о рухнувшем здании, успокаивать и зодчего, и тех, для кого оно предназначалось, хорошим качеством отдельных строительных элементов.

Первое, на что обращаешь внимание, — небрежность письма. Языковая ткань повести там и сям зияет худосочностью, невыразительностью, а то и просто безвкусицей. («Вечер был какой-то необычный, словно согретый не только солнцем, но и внутренним трепетным теплом тревожно бившегося сердца». Помимо альбомной красоты, фраза отличается еще и «тархтящей» аллитерацией: тре-тре-те-тре).

Повествование подается как бы через восприятие главной героини — вначале девятилетнего ребенка, затем подростка и, наконец, молодой женщины. Это обстоятель-

ство предъявляло свои требования к стилю, к лексике авторской речи. Они определялись возрастными особенностями героини, ее понятиями жизни, ее характером. А надо сказать, Саша — героиня повести — безграмотное, забитое существо. И потому странными, чужеродными кажутся такие, к примеру, словосочетания:

«Хозяйку словно подменили: всегда спокойная, с такой хленой ленцой, она стала словно наэлектризованной».

«Он вприпрыжку спускался по тропинке, свободной рукой постукивая по днищу котелка, как бы аккомпанируя себе...»

«Содержимое чашек стало катастрофически убывать».

«...догадалась Саша, с омерзением прислушиваясь к раскатистым руладам».

«...вдоль улицы пропело что-то на тонкой ноте. Инстинктивно она шарахнулась в сторону».

Все это «электричество» в данном произведении о данном герое звучит так же неуместно, как звучала бы такая, допустим, фраза из некоей повести о временах Петра I: «Находясь во власти аффекта, Меньшиков бросил шляпу, и та устремилась вверх по вертикали, будто спутник, выводимый на орбиту Земли».

По ходу действия читатель встречается с милиционером, «одетым в штопаную солдатскую гимнастерку и полинявшие галифе, с наганом у пояса». Судя по всему, это недавний рабочий или крестьянин. Естественно, что он пребывает в новом, пока непривычном для него качестве. Естественно и другое: у него еще не выработался (не мог выработаться!) тот особенный язык, на котором изъясняются сегодняшние «люди в синих шинелях». Однако милиционер времен гражданской войны говорит точно так же, как и его коллеги шестидесятых годов: «Доказательства имеете?.. Доказать, спрашиваю, можете, что ваша жена... связи имела?.. Раз нет доказательств, значит ваше заявление ничем не обосновано — голословно, понимаете?.. Наоборот, она имеет основание и право на развод с вами».

Понятно, что эти и подобные им издержки стиля у меня, читателя, неотвратимо порождают ответное: «Не верю!».

Не следует, однако, думать, что автору повести всего-навсего не хватило тщания: достаточно, мол, распахать языковые огрехи — и произведение обретет свойства хотя бы относительного совершенства.

Корень неудачи, как мне кажется, прежде всего — в нелогичном, непоследовательном развитии центрального образа, в проблематике произведения.

2.

Автор повести полон любви и сочувствия к своей героине. И это вполне объяснимо. Но, намереваясь создать сложный человеческий характер, Старцев увяз в нескрупулезности, и в итоге образ Саши предстал перед читателем как механическое нагромождение взаимоисключающих черт.

Вот Саша, не желая больше работать нянкой, решила заболеть. Чтобы спровоцировать простуду, босая, она идет в холодные сени. Спустя какое-то время ее «ноги стучат по полу, словно она в обледеневших валенках».

Легко представить, какой выдержкой, какой силой воли нужно обладать, чтобы решиться на такое.

Саша — горничная. У хозяйки дома пропадает золотая чайная ложка. Барыня уверена, что, кроме Саши и стряпухи, то есть кроме двух слуг, в доме никого не было. Следовательно, за пропажу отвечают они. Согласимся, что здесь есть свой резон. Но Саша ничего не брала, и, хотя барыня ей не говорит: «Ты — воровка», — она не может вынести оскорбление подозрением, уходит. Гордость, чувство собственного достоинства не позволяют ей оставаться в этом доме.

Но уже через несколько страничек мы видим Сашу, растерявшую все эти великолепные качества. Она предает свою любовь, выходит замуж за ненавистного, презираемого Василия. Как ни вертелась, а все же выходит. Почему? Таково желание родителей? Но в том-то и загвоздка, что Саша в глубине души и отца с матерью презирает, при живых родителях она чувствует себя сиротой.

Саша и ее подружка Улька «лежали на песке, рассказывали друг другу свои нехитрые биографии (!)... Улька оказалась сиротой... Саша слушала, но ее мало трогала вся эта печальная Улькина история; она сравнивала свою жизнь, мало чем отличающуюся от жизни этой девчонки. Всея и разницы, что у Саши еще живы и мать, и отец. Да толку-то...»

Какая беспросветная черствость! И какой «толк» печалит Сашу? Бедность родителей?

И как это увязать со сценой в церкви накануне обручения, где Саша изображена как человек отзывчивого, легко ранимого сердца?

Но повременим с эмоциями. Потому как Саша все же решается на разрыв с мужем. Проводив его в солдаты, она немедленно собирается в родной город, заявляет свекровке: «Не надо мне вашего — ни коровы, ни лошади, ни дома, в чем пришла, в том уйду!» Точка, казалось бы, поставлена. Но возвращается Василий, находит свою жену в городе. Саша говорит Ульке:

«— Отыскался мой король, будь он...»

— Теперь опять в деревню?

— Не поеду... Убей — не поеду!»

Перед нами прежняя, волевая, гордая Саша? Нет! Встречается наша героиня с ненавистным Василием и...

«— Не доедала, а гля, какая гладкая, — ущипнул он ее.

— Ой, что ты, Вася, больно ведь!

— Мотри какая нежная стала: тронуть нельзя...

Саша, взявшаяся было за подол платья, опустила его и заплакала:

— Вот и дождалась тебя, дождалась ласки, помнишь как уезжал, что говорил: на руках... клялся еще...

— А что, и поношу. — Он шутя подхватил ее на руки, кинул на кровать и дунул в стекло лампы.

— Подожди, Вася, разденусь... платье помну...»

Да, в жизни, как говорится, и не такое бывает. Однако же столь резкие, столь контрастные переходы (от «убей — не поеду!» до «подожди, Вася, разденусь»), если между этими переходами — пустота, если контрасты ничем не объяснимы, способны начисто разрушить веру в реальность происходящего. Тем более, что приведенный выше отрывок — не единственный образец, как говорится, несведения концов с концами.

То Саша демонстрирует свою ненависть к господам, а то — барское пренебрежение к бедности, даже говор простого люда ее раздражает. «Все здесь, в Фирсиной, не нравилось Саше: деревушка стоит на песчаной гриве, на ветру, с двух сторон болота, только мерзлый камыш качается, улица одна-единственная, да и та кривая, домишки — все больше плохонькие. И жители, сразу видно, бедные, какие-то обтерханные и совсем темные: «чай», «чаво», «паря» да матерщину только и слышно... Недаром, видно, фирсинских обзывали «порхаями». Было в этом слове что-то от убожества, темноты и невежества».

Бытует в народе поговорка: «В бедности жить — бедность не замечать». Вполне вероятно, что к Саше это изречение и не подходит. Тогда надо объяснить, откуда у девушки, кроме нужды, ничего не знавшей, такая спесь, такое высокомерие? Или, быть может, и унижительные мысли о несостоятельных родителях, и брезгливое отношение к «порхаям» — одного поля ягоды, единая линия образа? Нет же, судя по

всему, в намерения автора подобное явно не входило. Кажется, здесь все обстоит несколько проще: писателя часто подводит спешка, пренебрежение убедительностью мотивировок, точностью психологического рисунка.

Все эти упущения (а они далеко не ограничиваются приведенными здесь примерами) разрушают художественную ткань произведения. Отдельные неточности суммировались в нечто большее, чем просто ряд хоть и очевидных, но в общем-то извинительных частностей.

3.

Социальная пассивность Саши беспредельна.

«Шла война, а Саше словно и дела до нее не было. Думы о будущем, о Василии старалась гнать от себя подальше. «Хотя год, да мой». Даже весть о революции в Петрограде не удивила, не тронула. «Был царь, была какая-то Дума, теперь революция — какая мне разница?» — отмахивалась она от Ульки, постоянно бегавшей на митинги и собрания».

Радиус ее мыслей не простирается дальше обновки, уюта, нелюбимого мужа-тирана. На каждом шагу она видит нужду, ее родители влчат жалкое существование, сама она из тех, у которых ни кола, ни двора, — все равно Саша не задумывается, почему так несправедливо устроен мир.

Тем любопытнее понять, как Саша приняла революцию. Оказывается, подружка Улька надоумила ее, что «Васька твой теперь пусть хоть пальцем тебя тронет — сам чертей получит». Советская власть заступится. «— Дай-то бог, — даже перекрестилась Саша, — а то он опять меня замордует насмерть, бжели вернется».

И стала приглядываться и прислушиваться к тому, что делалось вокруг».

Ну, а если бы муж Саши не дрался, не пил, не лодырничал? Тогда, безусловно, так бы и продолжалось: «Был царь, теперь революция — какая мне разница?»

Право, неудобно повторять всем известное — революция разделила Россию на два непримиримых лагеря не по признаку: муж плохой — муж хороший. То была величайшая из битв, в которой противостояли труд и капитал. А недостойные мужья, неудачливые семьи, к сожалению, встречаются и сейчас.

Скажут: но ведь мог быть и такой случай, какой произошел с Сашей — приветствовала Советскую власть «по семейным обстоятельствам». Ведь именно с приходом Советской власти Саша развелась с мужем.

Но, во-первых, она могла это сделать и «при царе». А, во-вторых, это действительно только случай. Значит, таковым его следовало бы и показывать, по-другому расставив акценты.

Кстати, колы уж: речь зашла об акцентах на вопросы, которые при всей их кажущейся локальности имеют широкое историческое звучание, остановимся на таком тоже ярком (акцентированном) эпизоде.

Было это накануне «германской войны». Саша и ее муж жили в деревне, имели свое хозяйство (дом, лошадь, корова — совсем немного). Васька — лодырь несусветный. В поле, на жатву, выехали поздно. Надо бы работать, а муж:

«— Шурка, а ну иди сюды!»

Саша нехотя зашагала к стану, увидела брошенную на траву полость в тени березы, взглянула в нетерпеливые глаза мужа и все поняла. «Нашел время», — с тоской подумала она».

Словом, кончалась страда, а они так ничего и не сделали. Выручил их сосед, «у которого имелась жатка». За эту помощь Саша несколько дней трудилась на полях богатого благодетеля. «Соседки — такая же голь перекатная, отрабатывающие у хозяина, как и она, — ахали, ругали Василия» (не хозяина, о нем — ни полслова), а закончив дело, с песнями ушли домой. И все! Понимай, как знаешь!

Опять же, все описанное, вероятно, могло быть в жизни, а потому может быть и в книге. Но — как частный случай, не претендующий на какие-либо обобщения. В повести же он дан самодовлеюще, без авторской оценки эпизода. И получилась довольно яркая иллюстрация к «теории», изобретенной кулаками: голытьба потому и голытьба, что работать не хочет, пьет да баб любит...

Я уверен, что П. Стрцев, работая над повестью, руководствовался самыми добрыми намерениями. Однако глубина произведения покоится на глубоких, зрелых мыслях, выверенных жизнью, проверенных и перепроверенных автором. П. Стрцев, очевидно, где-то пренебрег этой «малостью», как пренебрег и детальным изучением времени, в котором жили и действовали его герои. И создается впечатление, будто он задался целью просто **что-то** написать. В итоге **что-то** написано. А вот творчески самостоятельного, художественно целостного произведения не получилось.

Досадно. Вдвойне досадно оттого, что Стрцев не однажды доказывал, он может делать добротные вещи.

Электронная библиотека АКУНЬ, akunib.ru

Марат ХОНЯК

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ



ВЕНТИЛЯТОР

Техника в нашей жизни, безусловно, играет огромную роль. Ну, там блендер, электробритва, шагающий экскаватор, мясорубка... Но насколько серьезный оборот приняло дело, я полностью осознал лишь тогда, когда наискосок от нашего дома, у цеха молзавода, установили вентилятор. Вот это, скажу вам, штукавина! Она выла зверем и плакала, как дитя. Уже через неделю жильцы всех четырех подъездов прекрасно объяснялись между собой с помощью пальцев на самые отвлеченные темы. Это их сплотило необыкновенно. На прочной основе взаимопонимания была создана инициативная группа по борьбе с шумом, командование которой принял младший лейтенант в отставке Василий Федорович Кныш. Несколько дней наши волонтеры пропадали в экспедиции, а потом их предводитель прислал за мной своего правнука с просьбой посетить его в штаб-квартире.

Это было печальное зрелище. Убеленный сединами старик лежал, обложенный грелками. Он объяснил мне на пальцах: «Я брал Паричи, форсировал Вислу, штурмовал Кенигсберг. Но эта крепость неприступна!»

А вентилятор все свирепел. Адская машина не знала даже перерыва на ужин. Завернувшись в два ковра и прикрывшись линолеумом, я строил планы мести. Ах, до чего же бедна человеческая фантазия! За целую ночь мне не удалось выдумать ничего лучше дыбы. Но однажды, когда мотор визжал особенно противно, спасительная мысль выскользнула из-под дивана и пробралась под линолеум. Уже на второй день я узнал адрес ди-

ректора молзавода и договорился с водителем мощного МАЗа дядей Петей, что буду оплачивать ему командировочные, стоимость бензина и сверхурочные. Поздно ночью мы остановили машину у заветного дома и началась вакханалия. Это было землетрясение плюс цунами. Мотор ревел на разных оборотах, я подвывал от мстительной радости. И неизвестно, что было громче.

— Не выдюжит, — уверенно сказал дядя Петя, хотя в доме до утра не шелохнулась ни одна занавеска.

На вторую ночь дядя Петя погрузился. На третью молча вернул мне задаток и укатил в гараж.

Неравная борьба все же продолжалась. Я стал владельцем тромбона. Да, это были звуки! Рулады обламывали ветви деревьев под окнами квартиры директора. Результат? Был и результат: штраф за нарушение общественного порядка при лунном свете.

Тем временем вентилятор нагел. Он выдавал такие реквизиты, что даже на воротнике моего пальто шерсть вставала дыбом. По ночам я уходил в другой район города и вот однажды во время прогулки наткнулся на будку телефона-автомата. Это столкновение высекло необходимую искру и под утро я уже звонил своему учителю:

— Квартира Дьячкова? Мне бы Виктора Сергеевича.

— Слушаю, — слышалось полусонное и не очень довольное.

— От лица домовой общественности спрашиваю: когда перестанет гудеть вентилятор у второго цеха?

— Кто говорит?

— Все говорят. Вентилятор вашего завода замучил жильцов дома...

— Неслыханная наглость! — рявкнула трубка, слышались короткие гудки.

Выждав время, необходимое для погружения в глубокий сон, я снова набрал нужный номер, после чего выслушал подробную характеристику мою и моих предков вплоть до двенадцатого колена. Затем спокойно спросил:

— Когда уберете змея-горыныча?

Трубка зачастила астмой отбоя.

Немного уставший, но бодрый и полный радужных надежд, я пошел на работу. А к ночи, запасшись разменной монетой, вернулся на свой пост.

Поединок проходил с переменным успехом. Сперва Дьячков нервничал, угрожал милицией и уголовным кодексом, но потом привык, брал трубку после первого гудка и любезно произносил:

— Здравствуйте. Ну, как жизнь?

И только иногда он оказывал пассивное сопротивление и плакал в телефон:

— Голубчик, ну не надо! У меня ведь план, техника безопасности,

детишки малые. Можно бы телефон отключить, да вдруг что-нибудь на заводе случится. Войдите в положение!

Я не входил. Иногда названивал даже днем. Но однажды телефонная трубка возликовала:

— Баста! Взял отпуск, завтра лечу на юг!

Это был удар ниже пояса. Но я собрал все свое мужество.

— От души поздравляю! На какой курорт?

Виктор Сергеевич умильно хохотнул:

— Ишь чего захотел! Ну, желаю и вам хорошо отдохнуть.

— Какое там! Воет ведь!

— А вы ноксирон пробовали принимать? Здорово от бессонницы помогает.

— Только им и питаюсь. Мединалом закусываю. Не берет!..

Мир познаваем, отпускные секреты директоров тоже. Не прошло и пяти дней, как я снова слышал родной, знакомый голос. Из Сочи.

— Надя, это ты? Что там стряслось?

Запинаясь о столбы, по проводам помчались мои ответные слова:

— Я это, Виктор Сергеевич. Дома все в порядке, на заводе кумысы освоили. Как там погода?

— Великолепная! — донеслось в ответ. — Горы. Море бьется о скалы.

Это же изуверство! Вы мне отдохнуть дадите?

— Так гудит ведь, жить не даст. Распорядитесь — отдохнем оба.

— Не могу, милый! — летело из Сочи. — Кстати, у нас там, видать, дожди. А вы из автомата звоните, я проверял. Холодно ведь, как бы не простыли. Зайдите к нам, скажите теще, пусть мой плащ даст. Заодно узнайте, как Сережка учится. Да не звоните часто, дорого все-таки, хватит двух раз в ночь...

И все-таки на второй неделе Виктор Сергеевич сдался.

— Довели вы меня, — сказал он грустно. — Осунулся я, сердце шалит. Сегодня молнировал главному инженеру, чтобы отключили это чудовище. Выждав под рев механического изверга определенное время и добавив для гарантии двое суток, я снова позвонил в Сочи.

— Гремит? — искренне удивился Виктор Сергеевич. — Быть не может! Она телеграмму прислали, что исполнено.

— В заблуждение вводят вас. Вчера, например, три стекла в доме вылетели, сам по осколкам ходил.

— Да вы где живете? — спросил вдруг он.

— Как где? У второго молзавода.

— Изверг! — прорыдала вдруг телефонная трубка. — Я же директор молочного завода номер один!

На пол телефонной будки закапали горячие слезы. Они текли по проводам из далекого города Сочи.



Был час послеобеденного отдыха, когда старшая вожатая Аэлита Трофимовна бессильно шлепнулась на стул в кабинете начальника пионерского лагеря.

— Сергей Васильевич, я заявляю самый решительный протест.

— Что стряслось? Опять Сырников? Или Бойцов? — озабоченно спросил начальник.

— Представьте — и тот и другой! Поймали поросенка завхоза соседнего лагеря и начали снимать с него скальп. Как он визжал!

— Поросенок? Еще бы...

— Завхоз!.. Побежал в сельсовет. Вчера, кричит, ваши архаровцы из моей коровы известкой зебру делали и из луков в нее палили! У животной с испугу, может, инфаркт, молоко перестала давать. А сегодня опять портят личную собственность!

— Да-а, — тоскливо протянул Сергей Васильевич. — Этак они скоро и до самого завхоза доберутся. А ведь на каждой линейке только и твердим: дети, нельзя поступать плохо, это нехорошо.

— Вся наглядность на воспитание нацелена, — подхватила Аэлита Трофимовна. — Сколько плакатов на территории прибито «Пионер — всем пример»! А им пампасы какие-то подавай, прерии, мустангов!

— Вот что, — палец Сергея Васильевича изобразил нечто замысловатое. — Собирайте народ, посоветуемся. Возникла у меня идеяка...

На вечерней линейке эта идеяка начала обретать вполне зримые черты. Усыпив бдительность ребят небольшой вступительной речью о значении самостоятельности в жизни коллектива, начальник лагеря предложил не искушенным в тонкостях педагогики малолеткам свой коварный план:

— Итак, с завтрашнего дня в лагере вводится самоуправление. Все руководящие посты будете занимать вы. Воспитатели и вожатые образуют отряд номер тринадцать, возглавят который Вася Сырников и Митя Бойцов. Вопросы есть?

После некоторого замешательства из рядов послышалось:

- А это по правде?
— Безусловно.
— А как вас завтра называть?
— По фамилии. Пионер Петров.
— И наказывать можно будет?
— Вплоть до исключения из лагеря.
— Сила!..

— Ну вот, клюнули! — довольно потирая руки, шепнул Сергей Васильевич Аэлите Трофимовне, стоявшей рядом. — Теперь им будет не до скальпов и мустангов. Все время на глазах!..

На следующее утро голосистый горн прервал на самом интересном месте сон Сергея Васильевича Петрова. Он повернулся на другой бок с твердым намерением узнать, а что же было дальше, когда в комнату вбежал Вася Сырников, заложил руки за спину и нараспев протянул:

— Эт-та что еще такое! Все давно на площадке, один Петров спать изволят.

Интонация голоса Сырникова была нудной и в то же время удивительно знакомой. Сергей Васильевич вскочил, чтобы отчитать его за столь бесцеремонное вторжение в пределы суверенной территории, но заметил красную повязку и сразу же вспомнил все.

— Я... у меня голова болит, — пробормотал он противным хныкающим тенорком и принялся внимательно рассматривать пол.

— Если хочешь быть здоров — закаляйся! — назидательно изрек Вася Сырников. — Не поможет зарядка, пойдете в медпункт, примете касторки и вашу голову как рукой снимет. На первый раз делаю замечание, а теперь — бегом м-марш!

Галопируя к спортивному городку, Сергей Васильевич пришел к выводу, что рановато он перешел на кабинетную работу, зря забросил гантели и эспандер. Давала себя знать одышка, не вытанцовывались простейшие упражнения. А когда ему пришлось под неумолимым взглядом дежурного обмыться холодной водой до пояса, он впервые подумал: а не напрасно ли затеяна вся эта кутерьма с самоуправлением?

— Ш-шевелись! — настиг его окрик Васи Сырникова. — Заправку коек проверить лично Мите Бойцову.

«На кого он, негодяй, так великолепно похож? — раздумывал экс-начальник, безуспешно пытаясь укротить постель. — На кого?»

Подлее всех вело себя одеяло — топорщилось, извивалось, замирало в страшных судорогах.

— И это заправка? — раздался вдруг насмешливый голос Мити Бойцова. — Это же Кордильеры! Лунный пейзаж! Дома, небось, мамочка кровать застилает?

— Ну, и мамочка, — вдруг огрызнулся Сергей Васильевич. — Я сюда приехал отдыхать, а не с подушками возиться.

— Эт-та что еще за тон?! Ставлю на вид. Придется на совете отряда поднять вопрос о том, чтобы девчонки-первоклашки научили пионера Петрова заправлять постель. Ступайте на линейку!

Уже в строю Сергей Васильевич уныло констатировал, что если так пойдет и дальше, то к вечеру он, пожалуй, преодолеет всю лесенку наказаний и свободно может вылететь из лагеря.

А Вася Сырников с трибуны распекал, разносил, давал ценные указания:

— Дисциплина в тринадцатом отряде ниже всякой критики. Пионер Петров изволил проспять подъем. Мы не можем терпеть в лагере обломовщину! Позор пионеру Петрову!

— Кому это он подражает? — шепнул Сергей Васильевич Аэлите Трофимовне.

— Вам! — неожиданно ответила та. — Да не вертитесь в строю, а то сейчас по выговору схлопочем.

Завтрак прошел благополучно, если не считать замечания, которое Сергей Васильевич получил за разговоры во время еды. Затем все отряды ушли в лес, а тринадцатый Митя Бойцов привел на веранду, усадил и раскрыл толстую книгу.

— Сейчас мы дочитаем отрывок из романа...

— Мы ж его читали. И не раз, — взмолилась Аэлита Трофимовна.

— Я тоже еще в пятом классе проходил, — солидно отвечал Митя. — Но раз вчера начали, надо кончать.

— На речку хочется, — заискивающе проговорил Сергей Васильевич. — В самый раз искупаться.

— Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плавало! — отрезал юный воспитатель. — Распорядок дня — неизблемый закон.

Над верандой витали знакомые до последнего слова диалоги, немилосердно припекало солнце, когда Сергей Васильевич бесшумно скользнул на крыльцо и скрылся в кустах.

Аэлита Трофимовна подняла руку.

— А Петров удрал, — смущенно съябедничала она.

Не успела майка экс-начальника коснуться песка, как на берегу возникли две фигуры.

— Уход на речку без разрешения является самым серьезным нарушением режима, — монотонно бубнил Вася Сырников. — Пионер Петров, объявляю вам выговор.

— Я больше не буду... — начал было канючить Сергей Васильевич, но потом вдруг обратился к Мите Бойцову: — О, Соколиный Глаз! Давай

омосм тела наши в этом священном источнике. Нужен нам тот режим, как зайду стоп-сигнал!.. А потом, если вы не против, я готов совершить вместе с вами набег на вигвам завхоза соседнего племени. Клянусь томагавком, утренняя манная каша — не пища для воинов, идущих по тропе боев. Слово вождя, завтра все будет по-иному. Ну как — трубку мира?

Изумленные ребята молчали.

Николай КАРЧЕВСКИЙ

МЕД И ЯД

Один сказал: «Пчела — лишь мед!»

«Нет — яд!» — второй ответил.

«Пчела и мед, и яд дает», —

В тот спор вмешался третий.

Я наблюдал, как спор их шел

И про себя отметил:

Один был добр, другой был зол,

Уравновешен — третий.

как
есте
ком,
Сло-

СОДЕРЖАНИЕ

А. КИСЕЛЕВА. К Ильичу. Рассказ	3
Александр БАЗДЫРЕВ. Взлет. Очерк	11

ПРОЗА ПОЭТОВ

Леонид МЕРЗЛИКИН. Любовь и жерди. Рассказ	25
Николай ЧЕРКАСОВ. Солдат и бакенщик. Рассказ	31
Виктор СЛЕПЕНЧУК. Утенок. Пластинки. Я вернусь. Рассказы	37
Иван ОЛИФЕРОВСКИЙ. Ожидание. Рассказ	42
Владимир КАЗАКОВ. Сентябрь. Главы из лирической поэмы	46
А. ТОПОРОВ. В старом Барнауле. Штрихи воспоминаний	51

НАШИ ДЕТИ

Лев КВИН. История одной любви. Рассказ	98
--	----

О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ ХРАНЯТ ИСТОРИЮ

Георгий ЕГОРОВ. ...Но и любить!	110
---	-----

ЧИТАТЕЛИ, ПИСАТЕЛИ, КНИГИ

И. БЕРЕЗЮК. Каков же замысел?	115
---	-----

С УЛЫБКОЙ

Марат ХОНЯК. Вентилятор. День самоуправления. Юмористические рассказы	120
Николай КАРЧЕВСКИЙ. Мед и яд	126

Электронная библиотека АНУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» № 2(49) 1969

Художественный редактор В. Раменский
Технический редактор М. Сафонова
Корректор А. Дмитриев

Сдано в набор 17. IV. 1969 г. Подписано к печати 20. V. 1969 г.
Формат 70×84/16. Бумага тип. № 2. Усл. п. л. 8,72. Уч.-изд. л. 8,02.
Тираж 5000 экз. АГ 00723.

Алтайское книжное издательство — Барнаул, Ленина, 76.
Заказ 915. Типография № 1 Управления по печати — Барнаул,
Л. Толстого, 29. Цена 40 коп.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

40 коп.

Веселая челка

Сл. Геннадия Панова

Муз. Михаила Старикова

весело

Музыкальный фрагмент с нотами и гармоническими пометками (Dm, Gm, A7, F, C7). Текст песни:

Ла-ла-ли ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-ла ла-ла-ла ли-ля-ля Ве-
се-ла-я чел-ка и бант го-лу-бой Дев-чон-ка, дев-чон-ка, ска-
жи, что тако-е лю-бовь? За-пис-ка в ла-до-ни со словом „лю-блю-помол-
чи!..“ А дождик вдогонку на шпильках сту-чит.

Веселая челка
и бант голубой.
Девчонка, девчонка,
скажи, что такое любовь?

Записка в ладони
со словом «люблю» — помолчи!..
А дождик вдогонку
на шпильках стучит.

По лужицам теплым
идет неспеша.
А дома две куклы
давно позабыты лежат.

Девчонка, девчонка,
где кончилось детство — скажи?
А дождик вдогонку
за детством бежит.

Ты туфельки купишь
и клипсы себе.
И будешь, потупясь,
молчать возле дома в ответ.

И будешь на танцах
отказывать холодно всем.
А куклы Наташке
отдашь насовсем.

Веселая челка
и бант голубой.
Девчонка, девчонка,
скажи, что такое любовь?

Высокое солнце,
семнадцать девчоночьих лет.
А дождик вдогонку
бежит по земле.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elibr.altlib.ru

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru